

Михаил Кураев

ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ

Повесть писалась легко, потому что ничего не надо было выдумывать. Петя Макаров жил в том же, что и наша семья, поселке строителей первой в мире подземной электростанции в Заполярье, неподалеку от Кандалакши. Я был школьником, сыном начальника строительства, а двадцатилетний Петя Макаров был малый, как говорится, не от мира сего. Вообразил себя инспектором ГАИ. В поселке шофера и работники гаража и даже милиция, по-человечески сочувствуя, подыгрывали ему. И фуражку ему выдали форменную, и портупей у него была с деревянным наганом в кобуре. Он таскал из-за реки огромные вязанки березовых веток на корм козам, и пел из-под этой вязанки песню собственного изготовления: "Я Петя, Петя, Петя, я Петя молодой..."



Брату Сергею

Краткая, но выразительная жизнь Пети дня четыре занимала весь поселок Нива-III. Ко дню похорон новость как бы устарела и утратила свою занимательность, так как не несла в себе ничего загадочного. Куда интересней была последовавшая вскоре за ней смерть полковника Богуславского, которому еще предстоит выбежать на страницы этого рассказа в боевых галифе и домашних тапочках на заснеженную Кировскую аллею с «ГТ» в руках ровно в половине второго днем 26 марта. Смерть же Пети, ставшая негромкой новостью обширного поселка в трех километрах от Кандалакши, обойдя бараки и двухэтажные из бруса сложенные дома итээрцев, перекинулась в военный городок, где уже не Петя был представляющим интерес героем, а солдатик Черемичный, солдатик невыразительный и даже на вид какой-то золотушный. По мнению командира роты капитана Топольника, для строя этот самый Черемичный был мало пригоден, за три года службы он так и не сумел форму, надетую на него Родиной, наполнить сколько-нибудь достойным бойца содержанием: и гимнастерка, и шаровары, и шинель были на нем какие-то обмяклые, будто он только что вышел из больницы, где похудел до неузнаваемости. И что самое удивительное, Черемичный, не умевший толком попасть в поясную мишень ни лежа, ни с колена, ни тем более стоя, свалил Петю первой же очередью, правда, с небольшого расстояния. Происшествия со смертельным исходом, если за это никому не надо отвечать, недолго живут в устных гарнизонных преданиях. История жизни и главным образом интересной все-таки смерти через военный городок, разделявший поселок Ниву-III с Кандалакшей, перекочевала в город, и через неделю уже вся Нижняя Кандалакша пересказывала какую-то несусветицу, где переплелись времена и события, вовсе не имеющие к Пете никакого отношения, и, затухая, уже морем, поблекшая новость докатилась аж до Лувеньги, где вздохом Анастасии Павловны Лопинцевой: «Все у них не слава богу», — и была подведена последняя черта и поставлена точка в земной памяти о жизни и смерти Пети. Значительно дольше, месяца с полтора, держалась память о Пете на разъездах Ручьи и Проливы, расположенных невдалеке от Кандалакши на южном «плече» Кировской железной дороги.

С разъезда Ручьи в Кандалакшу, а вернее, в расположенный в трех километрах от Кандалакши поселок Нива-III, ездила стирать в итээрских домах рябая и жилистая Валентина Репишева, мать троих детей, женщина молодая и крепкая. С собой она, как правило, привозила, сколько могла привезти, бруснику и моченую морошку, обратно везла продукты, что дадут из одежды и новости, оживлявшие ненадолго общественную жизнь на тесно связанных друг с другом разъездах Ручьи и Проливы.

Если у историков, уставших от грохота побед и маршей, от костров, набатов и зарниц, возникнет когда-либо на досуге сознание необходимости описать краткую жизнь и неожиданную смерть Пети, то им можно было бы настоятельно рекомендовать, в качестве источника наиболее достоверного, чисто объективного, рассказы Валентины Репишевой, знавшей Петю лично и слышавшей от итээрских дам о том, как был убит и похоронен Петя. После стирки и уборки ее

кормили и, как свежего в поселке человека, угощали наиболее интересными новостями. «Ты сколько у нас, Валечка, не была? две недели? а мы тут такое пережили, просто ужас...» Распаренная работой Валентина, источая в ту зиму еще и запах переполненных молоком грудей, поспешно ужасалась, но слушала не очень внимательно, соображая, как она будет добираться до станции, в какие магазины успеет, и, смахивая обязательную слезу, успевала тем же жестом поправить рыженькие прядки негустых волос, наскоро скрученных после работы, а теперь расплывающихся во все стороны. Валентина помнила, как раза три-четыре Петя останавливал шедшие в Кандалакшу с Нивы-III машины и предписывал водителю доставить груженную неподъемными мешками Валентину до станции. Валентина слушала рассказы о Петиной смерти не очень внимательно вовсе не от черствого сердца и не оттого, что забыла Петины услуги или больше в них не нуждалась, просто не было у нее роскошной возможности, как у других дам из поселка, с толком предаться печали: приходилось побыстрому прикидывать, что ей дадут из обещанного для детей, поскольку обещали всегда чуть-чуть больше, чем давали: «Завалилось куда-то, Валюта, в следующий раз найду и все подсоберу...» Приходилось соображать, тащить ли то, что дадут, с собой в магазин и оттуда на станцию или оставить здесь, а потом, уже после магазина, забежать и лететь прямо к поезду. Про Петю Валентине рассказывали во всех шести квартирах, взятых ею под свое покровительство. И что поразительно, во всех рассказах совпадали даже подробности, что является лучшим свидетельством достоверности: значит, никто из рассказчиц не был ни в малейшей степени заинтересован ни в приукрашивании жизни и смерти Пети, ни особенно в сгущении красок, в чем сказалось, скажем так, благотворное влияние лучшей литературы начала пятидесятых годов. А скорее всего, просто не было никакой выгоды в том, чтобы исказить правду, поэтому и говорили все как есть, иначе не удержались бы и обязательно приврали в ту или другую сторону.

А сгущать краски и преувеличивать случившееся поселковым дамам не позволял хороший вкус.

Все подчеркивали, что «этот несчастный» был убит на том самом месте, где Гришка Ланзенгер убил своего отца. Историю о том, как позапрошлым летом начальник шестого участка пошел с сыном пострелять из мелкашки, стал поправлять консервную банку, по которой стреляли, а Гришка выстрелил и убил отца, Валентина много раз тоже слышала и знала хорошо. Теперь, в связи со смертью «этого несчастного», дамы обязательно подчеркивали: «Почти на том же месте...», «На том же самом месте...», «Буквально на том же месте...» — и все это для того, чтобы сообщить малоинтересному в смысле поучительности событию некоторый мистический, оригинальный оттенок, столь необходимый для дам, имеющих все моральные и физические основания быть надежно защищенными от всяческих опасностей в этой жизни, в том числе и от труднообъяснимых. Да, да, пристрастие настоящих дам к мистическому, таинственному и необъяснимому, пристрастие, разумеется, неосознанное, как и множество других пристрастий, было продиктовано бессознательной потребностью заявить о своей хрупкости и незащищенности, с одной стороны, и, с другой стороны, напомнить о долге тем, кто взял на себя ответственность и обязанность ограждать, укрывать и обеспечивать существа беззащитные перед лицом непредсказуемых и таинственных стихий.

Понимаю, милые дамы, понимаю! вам так хотелось, чтобы обязательно «буквально на том же месте», тогда место становится роковым и ужасаться можно почти по-настоящему. Должен вас огорчить и внести существенную поправку: в отличие от множества других исторических лиц Петя не нуждается ни с какой точки зрения в искажении фактов его биографии, по крайней мере тех, что худо-бедно сохранились. Ни в интересах политики, ни в интересах высокой морали или даже в интересах самой поэзии нет смысла держаться за вранье, придуманное лучшими дамскими умами поселка. Гришка Ланзенгер убил своего отца почти у Медвежьей Пади, а Петю свалили аж за 14-м ручьем, уже за Поляной, эвон где! за той самой огромной плечиной, косо поднимавшейся к подножию горы Крестовой, восточным склоном обрывавшейся в Медвежью Падь, а западным — плавной седловиной перетекающей в округлую вершину под названием Бабий Пуп. Название, надо сказать, не очень и оригинальнее на фоне Большого и Малого Караквайиша, что по-фински или по-лопарски и означает ни много ни мало — Большие и Малые Женские Груды. Так вот, Петю убили не за взрывскладами, расположенными на неждидом берегу речки Нивы, в километре от моста, взрывсклады остались и далеко сзади и много левей, а там, где Поляна кончается и у подножия Крестовой начинается еловый лес, рослый и непроглядный. Здоровенные лесины, одна к другой, так стеной и стоят до половины довольно-таки крутого склона, а дальше уже идет совершенно голая каменистая земля с карликовыми березками, утрамбованная и зализанная крепкими полярными ветрами. В складках же этой совершенно открытой, из поселка стога берега кажущейся округлой вершины сопки даже в июле и августе можно было видеть прошлогодний снег, лежавший там в

самом прямом, а не аллегорическом смысле. Разъяснение места, где был убит автоматной очередью Петя, совершенно необходимо вовсе не для отыскивания неточностей в мимолетных преданиях хранящей множество тайн Кольской земли, а лишь для того, чтобы представить себе, откуда пришлось Петю нести, поскольку никаких дорог, кроме тропинок, в этих местах не было, а ближайшая дорога, отчасти выложенная гатью, начиналась у взрывскладов, то есть в добрых двух километрах от места происшествия.

Вот за исключением этой детали можно дальше во всех подробностях положиться на рассказ Валентины Репишевой, от нее можно было бы узнать, что мать Пети действительно считала, что хоронить сына должны военные, раз они его убили, но никаких убедительных резонов, кроме того, что от покойницкой при больнице, куда был временно помещен Петя, до кладбища самый короткий путь все равно лежал через военный городок, привести она не могла. Зато в военном городке пообещали помочь с гробом.

Командир роты, где служил солдат Черемичный, в наказание за промах, за служебный промах, за ошибку, приказал солдату своими руками построить для погибшего гроб. Черемичный был отправлен в гарнизонную столярку, где под насмешливыми замечаниями настоящих мастеров своего дела сколотил из нестроганых досок что-то несусветное. Однако этот сосновый саркофаг востребован не был, поскольку в то же самое время в гараже Нивагэсстроя был сколочен отличный гроб из легоньких сухих досочек от кузовов двух списанных полуторок, — доски хранили запах бензина и дорог. О лучшем Петя не мог бы и мечтать. Вообще получилось так, что похороны и даже поминки взял на себя гараж, неофициально, конечно, и не в полном составе, а лишь те, кто не мог упустить как бы законного повода для прогула и уж совершенно законного — для пьянки. И вообще на поминках собралось даже больше народу, чем было на похоронах. К тем семи, что были от гаража, добавились еще двое из милиции, Копытлов и Многолесов, затянутые на скорбные торжества с приговоркой: «Вашего хоронили...» — так что тем некуда было деться, а в преддверии весеннего техосмотра такое общение, с Копытловым и Многолесовым особенно, было и своевременным и полезным.

Странно было смотреть на Петину мать, когда она моталась по начальству между поселком и военным городком, пристраивая своего покойника, потому что видеть ее без Пети было совершенно непривычно. Петю без матери при жизни видеть можно было сколько угодно, но вот Петину мать никто бы и не заметил, если бы рядом с этой крошечной, как пчелка, женщиной без возраста и лица, одетой, как правило, не по сезону, большей частью в худое платье или ватник гранитного цвета, не было длинного и плоского, как вечерняя тень, Пети. Если сравнение с тенью, как и все сравнения, хромает, то еще проще эту привычную для поселка пару было бы сравнить с восклицательным знаком, где Петя, естественно, был вертикалью, а крохотная его матушка — точкой. Отнимите у восклицательного знака вертикаль, и вы уже никогда не догадаетесь, что за точка образуется в остатке: от многоточия ли, из точки ли с запятой, или это, предположим, деталь вопросительного знака. Точка и точка. В подтверждение этого можно напомнить, что никто в поселке даже и не заметил, куда она делась после смерти Пети, хотя на самом деле, что особенно интересно, никуда она и не делась, осталась тут же, в Кандалакше, только перебралась с Нивы-III, не совсем, правда, с Нивы, а из Лесного, из поселка по дороге на Головной, непосредственно в Кандалакшу, где нашла неплохое жилье в хибарке рядом с лесобиржей на берегу залива. Изредка она появлялась и на Ниве-III, и в Лесном, но там ее без Пети уже почти никто не узнавал, и таким образом вскоре как-то деликатно, не торопясь, погрузилась она в ничтожество и полную неизвестность.

Сопки, Ручьи, Проливы, Валька Репишева — все это, вокруг Пети да около, с ним же самим лучше всего познакомиться в минуту триумфа. Минут, таких в недолгой жизни Пети было две, и обе они достойны обстоятельного описания.

Если проследить незримую нить, соединившую всемирно известного народного артиста Черкасова и Петю, то никак не миновать клуба имени 25-летия Великого Октября, расположенного на каменистом бугре, собственно на улице Высокой, откуда открывается прекрасный вид на обширное пространство Станционного узла, где сосредоточились основные объекты строящейся ГЭС.

Все началось как бы исподволь и не обещало триумфа Пете, напротив, о нем даже никто и не помышлял, никакой такой Петя и в голову никому не мог прийти из тех, кто, быть может, в самом Московском Кремле принял решение избрать в Верховный Совет любимого народом артиста Черкасова Николая Константиновича по Заполярному территориальному округу. Сколько набилось народу в клуб имени 25-летия Великого Октября, где происходила предвыборная встреча с

депутатом, подсчитать совершенно невозможно: шестьсот мест сидячих было заполнено до отказа, в задних рядах были случаи, когда на одном месте сидели и по двое, а с детишками так и втроем, еще в проходах стояло человек полтора, двадцать семь человек, перегнувшись самым неестественным образом, прилепились по стенам. Ну, в президиуме человек тридцать и за кулисами примерно тридцать пять. Столько же осталось на улице, готовых мерзнуть только для того, чтобы посмотреть своими глазами на великого артиста и любимого депутата, когда он будет выходить.

Сколько неслыханного сладострастия и неизведанных наслаждений таит в себе встреча с кандидатом в депутаты! Особенно в ту пору, когда общественное целомудрие достигает совершенства, а политика, утратив свое житейское содержание, перестав, наконец, быть борьбой за власть, обретает черты исключительно поэтические и достигает ужасающей силы.

Депутат такого размаха — это же отблеск той высшей и беспредельной власти, о которой каждый помнил и знал, но прикоснуться вот так, хотя бы взглядом, довелось совсем немногим.

Конечно, люди помнили, как в начале 1945 года через Кандалакшу на какие-то переговоры в Мурманск ехал товарищ Шверник, поезд был из четырех вагонов, но оснащен двумя паровозами «СО» и двумя платформами с зенитками. Из-за начавшейся бомбежки станции в Кандалакше останавливаться не стали, отменили и митинг в железнодорожном депо, где в ожидании люди пребывали с раннего утра, и только четыре бочонка отборной селедочки, приготовленной в спецпосоле для вождя на рыбоконсервном заводе, остались доброй памятью для городского начальства, не успевшего не только вручить презент, но даже толком разглядеть высочайшего гостя.

Такое столпотворение в клубе, выстроенном, замечу, с большим искусством в лучших традициях предвоенной заполярной архитектуры, с верандами, деревянными портиками и затейливыми башенками, объясняется очень просто. Во время выступления и встреч в Кандалакше у всех непопавших сохранялась какая-то надежда: не удалось пролезть в кинотеатр «Победа» — можно попробовать просочиться в Клуб железнодорожников, оттуда погнали — можно прорваться в Дом Красной Армии в военном городке, а вот выступление на Ниве-III, в клубе 25-летия Великого Октября, было последним, и, если не удастся повидаться с депутатом здесь, то придется ехать за тридцать шесть километров в Зашеек, там у него следующая встреча, а не выйдет, так дуй в Апатиты или Мончегорск, хотя там кандалакшинским никогда ничего не светило.

Была зима, и Петя стоял в правом, если смотреть со сцены, проходе, спрессованный со всех сторон шубами, пальтами и непробиваемыми для ветра и полярного холода одеждами неизвестных в поселке людей, приехавших из разных отдаленных дыр. Петя возвышался над теснившими его гражданами на голову, шею и даже верхнюю часть плечей. Он был облачен в свой единственный ватник, перетянутый портупеей с пустой кобурой для нагана. Петя понимал, что синюю фуражку с красным околышем надо бы снять, поскольку большинство людей в проходах стояли все-таки без головных уборов, но — одно дело трех или лопарский шлем с метровыми ушами, его можно и в карман или за пазуху спрятать, а фуражку куда денешь, если рукой не пошевелить? Снять в конце концов можно, но она же погибнет от такого людского давления, погибнет навсегда, быть может, не уцелеет даже замечательный лаковый козырек, пришитый к этому милицейскому картузу, доставшемуся Пете без козырька, умелыми и заботливыми матушкиными руками. Была у Пети и форменная кубанка с эмблемой НКВД, он носил ее зимой, как положено, но для участия во встрече исторической и торжественной фуражка была намного выразительней.

Когда Петя забывал о фуражке, он чувствовал себя как в храме: слова, доносившиеся с трибуны, были торжественными, праздничными, ликующими, хотя и не очень понятными, все славил счастливую эпоху, радостную жизнь и творцов нашего счастья, а потом говорили о своей любви к достойному сыну нашей Родины, кандидату в депутаты Черкасову Николаю Константиновичу, великому артисту, выдающемуся борцу за мир и счастье всех советских людей. И во всех выступлениях шквалом аплодисментов встречала публика избирательский наказ: почаще видеть на экранах и побольше слышать по радио дорогого депутата. Отсутствие других пожеланий и просьб избирателей говорило о глубоком понимании народом творческого труда, о желании и готовности оградить артиста от всего, что может помешать его великому служению искусству.

Смотрели на Черкасова во все глаза, переживая сладостное предвкушение возможности еще его и услышать, услышать голос, ни с чем не сравнимый, раскатистый, несущийся словно из какого-то сказочного грота, услышать своими ушами, а не по радио, что думают высшие классы общества о них, простых людях, которые вот здесь, в Заполярье, в борьбе с природой и невзгодами строят своими руками свое собственное будущее. Многие при этом забывали, что в ту пору общество еще не было подготовлено к верному взгляду на народ.

Сидя в президиуме, Николай Черкасов глубоко и сладко задумывался, ни о чем не думая, прислушивался, повернув голову к оратору, ничего не слыша, и поспешно склонялся над блокнотом и делал запись, когда необходимо было зевнуть. Поездка была все-таки очень утомительной, а выступления в подавляющем своем большинстве не отличались разнообразием.

Такого количества вождей и начальства Петя не видел никогда в жизни и был счастлив не меньше тех, кому довелось там, в президиуме, на отдельном стуле сидеть рядом с народным артистом. Когда артист поворачивался к сидевшему справа от него начальнику Нивагэстроя Николаю Ивановичу и что-то спрашивал, у Пети обмирало сердце, он даже в мыслях своих не допускал, что эти люди могут говорить о пустяках, ведь для этого не нужно выходить на сцену, для этого не нужно сидеть за покрытой красным кумачом трибуной. Николай Константинович что-то тихо, деликатно, чтобы не смутить очередного оратора, спрашивал Николая Ивановича, а тот, разглаживая ладонью лежащую перед ним бумажку, отвечал с подобающей для переговоров в президиуме сдержанностью, чуть поворачивая голову в сторону артиста, но продолжая при этом смотреть в зал. Петя знал, что и от этого маленького разговора, от этой улыбки Николая Ивановича, которую ему случилось наблюдать собственными глазами, жизнь станет значительно лучше. А еще было видно, что Николай Константинович вовсе не слушает лестные похвалы по своему адресу и высокую оценку его труда и таланта, прерываемую бурным шквалом аплодисментов. Он смотрел в зал мудро, пронизательно, стараясь навсегда запомнить каждое обращенное к нему лицо, запомнить все чаяния и надежды, с которыми люди пришли в этот зал.

Именно по тому, как кандидат в депутаты не слушал похвалы по адресу выдающегося политического и художественного деятеля Черкасова Николая Константиновича, Петя понимал и чувствовал, какая глубокая и полная правда звучит в каждом произнесенном в этом зале слове, и ему казалось, что он вовсе не сплюснен от напора множества тел, обретших необыкновенную твердость, несмотря на мягкую зимнюю упаковку, а стоит на вершине, откуда виден Кремль, Москва, сверкающая под красными кремлевскими звездами, и вся страна, и народы всего мира, возлагающие все свои надежды на несгибаемые ряды хорошо одетых борцов за мир.

Он, не отрывая глаз, смотрел на Черкасова, и только один раз ядовитая струя зависти облила его трепещущее восторгом сердце. Какой-то человек в пиджаке и свитере, аккуратно касаясь ногами сцены, вышел из-за кулис прямо во время выступления и, никого не тревожа, прошел, пригнувшись, сзади первого ряда стульев президиума и оказался за спиной Черкасова. Он протянул депутату из-за плеча белый листок бумаги и замер в ожидании. Черкасов прочитал, улыбнулся, отчего невольно улыбнулся и ползала, обернулся к гонцу, совершенно стусевавшемуся за его спиной, и согласно кивнул.

«А ведь и я бы мог вот так же — и принести, и передать», — подумал Петя как о счастье, проплывшем мимо.

Вот так улыбнуться, вот так кивнуть великий Черкасов мог бы и ему, Пете.

Откуда Пете было знать, что этот постройкомовский человек просил в письменной форме у гостя разрешения положить ему в машину семгу «депутатского» засола.

Обратно постройкомовский шел между рядами в президиуме, почти совсем не сгибаясь, и даже кого-то задел, неся в себе ростки некоторого величия, сообщаемого человеку правом во всю оставшуюся жизнь правдиво и обстоятельно рассказывать, как приезжал Черкасов, как он участвовал во встрече, как потом подходил, передавал сообщение и т. д., со всеми предшествующими и последующими подробностями.

И в эту самую минуту, когда горькая зависть острым коготком зацепила и сволокла обратно, на место, под ватник, под промокшую от пота рубашку эвон куда залетевшую в мечтах и грезах Петину душу, случилось невероятное.

Черкасов обвел взглядом зал, и взор его встретился с глазами Пети!

Петины глаза смотрели так жарко, так отчаянно, его мокрая от пота голова, полуоткрытый рот, совершенно влажные пряди волос оставляли впечатление утопленника, вдруг вынырнувшего над морем голов из безнадежной глубины, чтобы через мгновение вновь кануть в бездну. То ли от духоты, то ли от усталости Черкасову показалось, что он споткнулся и начал медленно-медленно падать, а круглые, разверстые на него глаза и черный сильно дышащий рот вдруг показались той пропастью, которая затягивает его. Так случалось не раз, среди обращенных к нему лиц он наткнулся на такие, что, не признаваясь себе, все-таки хотел, чтобы их не было. Он любил, сидя на сцене, разглядывать лица людей, угадывать их характеры, судьбы, даже иногда придумывал им кусочки биографий, отталкиваясь от едва заметных примет, перетасовывал сидящие в партере пары, составлял подчас весьма забавные комбинации из молоденьких особ и молодящихся старцев, из

увядающих красавиц и теснящих их соперниц новой формации, но это все были игры, вроде пасьянса; сейчас же происходило что-то иное, переставшее быть ему подвластным. Какая-то мрачная, болезненная радость, светившаяся в глазах Пети, пугала его, он знал, чувствовал, что смотреть туда не надо. Он давно уже видел эту голову в милицейской фуражке, торчавшую над другими головами, и почти нарочно старался не смотреть на него, переводя скорее взгляд на стены, где люди разных возрастов, хотя по преимуществу и молодые, лепились, как ящерицы, греющиеся на согретой солнцем каменной стене. Как они держались, понять было невозможно. Он вспомнил поездку с Пудовкиным в Индию, вспомнил, как в гостинице в Калькутте к ним прямо в окно заглянула какая-то кошмарного вида огромная птица с клювастой головой на длинной морщинистой шее без перьев. Птица по-петушиному, боком, смотрела на них, то ли недоумевая, то ли выбирая жертву. Сева без раздумья схватил ботинок и запустил в лупоглазое чудовище и ботинком и трехэтажным матом, срывавшимся с уст великого режиссера и по более скромным поводам. Вспоминая все это, эту длинную красную в старческих морщинах шею, он на секунду забылся, и встретился взглядом с Петей.

Увидев, что на него, прямо на него, ему в глаза смотрит Черкасов, изнывающий от жары Петя почувствовал холодное и бессмысленное отчаяние. Глаза его округлились еще больше, он был сдавлен по рукам и ногам и не мог вот сейчас, в эту, быть может, единственную минуту его жизни высказать и подтвердить, как он любит, обожает любимого артиста. Он хотел закричать, но крик, не дойдя до гортани, застрял где-то между диафрагмой и легкими.

Великий артист попытался отвести взгляд и не смог. Он уже различал белесые негустые брови, и они казались ему пыльной травой на краю обрыва, видел черные круги вокруг воспаленных бесцветных глаз, видел и капли пота, которые стиснутый человек не мог утереть; ему показалось, что двинулся и потек зал, потекли лица, словно кулисы при перемене декораций, взмыли вверх стены с распластанными на них фигурами, и глаза этого сумасшедшего в милицейской фуражке были единственной неподвижной и прочной точкой, за которую только и можно было ухватиться, чтобы остановить все безумие. Он смотрел на Петю, теперь уже боясь отвести взгляд, чувствуя, что ставшее невесомым тело упадет, если лишится этой последней точки опоры.

Петя страдал невыносимо, он видел, что Черкасов смотрит на него и даже не отводит глаз, словно чего-то ждет, а может быть, даже и просит...

И Петя подмигнул!

Петя подмигнул левым глазом из-под сбившейся на сторону фуражки, подмигнул как корешу, как старому приятелю, братку и земляку. И тут же весь зал увидел, как Черкасов подмигнул кому-то, подмигнул лихо, мудро, мастерски, словом, по-черкасовски. Зал, неотрывно смотревший на любимое лицо, следивший и ловивший каждый жест, каждый поворот головы, каждое движение пальцев на столе, так нуждался в этом приветном знаке, который напрочь ломал, сметал ту едва уловимую, даже вовсе прозрачную стену, что все еще сохранялась между народным артистом и народом. И вот подмигнул! И не было больше стены, словно он сам, весь, такой огромный, родной, каждого коснулся своей рукой, вот так, по-свойски напомнил о незабываемой, давней дружбе.

Сотни голов в ту же секунду разом обернулись в ту сторону, куда был адресован непосредственно этот неповторимый жест чуть припущенной левой брови, прищур глаза и веселый прыжок век, к тому, кого узнал Николай Константинович, кому послал свой привет.

Те немногие, кто не видел вот этого перемигивания, бросились к соседям с нетерпеливым расспросом, но есть вещи, которые нельзя объяснить словами, соседи только улыбались, как посвященные в нечто большее, чем тайна.

По тому, как Петя смотрел на Черкасова и улыбался, сомнений быть не могло — дружеский знак предназначался ему и только ему.

Петю в этом зале знали все.

Если описанная только что минута триумфа носила публичный и отчасти всенародный характер, то у второй высочайшей точки Петиной жизни зрителей не было, туда он поднялся и пребывал там, в неведомом ему доселе чувстве высочайшей гордости и блаженства, совершенно один.

Одиночество вообще черта лиц исключительных.

Рожденный для всевозможных испытаний и бедствий, как раз с бедствиями и испытаниями Петя справлялся сравнительно легко, во всяком случае, они тяготили его не так, как нас с вами, значительно меньше. Детское настроение его ума не позволяло ему охватить поглотившую всю его

жизнь невзгуду целиком, не говоря уже о том, чтобы осознать и выглянуть, хотя бы в воображении, за ее пределы, поэтому и не чувствовал он в полной мере трагические обороты жизни.

Не мне судить, далеко ли он в этом ушел от людей высшего ума, взявших на себя роль учительствовать и предводительствовать хотя бы и частью человечества и понимавших при этом едва ли не меньше Пети, что с ними происходит, чем они в конце концов заняты, устраивая с неистовой энергией пути к блаженным грезам и непременно к будущему счастью, да еще такому, о каком сегодня простыми и ясными словами высказаться невозможно.

Петя находил себе занятия исключительно по душе, никак не насилувавшие его хрупкую натуру, а мечтания его никак не осложняли жизнь остального человечества. И вторая минута триумфа в его жизни как раз и связана с осуществлением давнего и тайного мечтания.

Едва в поселке появилась первая «Победа» изумительного цвета кофе с молоком, как Петю охватило невыразимое томление и зародилась пламенная мечта ее проинспектировать. Если добавить к этому, что «Победа» была первой не только в поселке Нивагэстроя, но и во всей Кандалакше, где городские и партийные начальники дотрепывали старенькие, чуть ли не довоенные эмочки, а директор 310-го завода разъезжал на трофейном «БМВ», вовсе не пригодном со своей низкой посадкой для заполярных суровых дорог, то желание Пети понять можно.

Водителем на «Победу» был переведен Гриша Вартанян, верный шофер Николая Ивановича, державший «козлик», с деревянным утепленным кузовом и коврами красными дорожками на сиденьях, уже четвертый год в образцовом порядке. Николай Иванович и Гриша при многих внешних отличиях были в чем-то и очень похожи. С одной стороны, Николай Иванович имел высокий крутой лоб и был лыс аж до затылка, а у Гриши хотя лоб был и не такой высоты, зато волос был черен и густ; с другой стороны, Николай Иванович был бел и лицом, и телом и после перенесенного туберкулеза даже не загорал, а Гриша, напротив, был смугл и казался загорелым даже в полярную ночь, когда солнце вовсе не показывалось из-за горизонта с конца ноября до начала февраля. Среди наград, полученных в войну, у Николая Ивановича, с одной стороны, была медаль «За оборону Советского Заполярья», а с другой — «За победу над Японией». У Гриши медалей не было. Гриша был в плену и для искупления вины перед Родиной отправлен в Заполярье как репатриированный. А совпадали они главным образом в том, что Гриша никогда не давал понять, что он возит начальника строительства, а Николай Иванович никогда не подчеркивал, что он и есть начальник строительства и член бюро обкома, которого возит Гриша. Петя ничего этого не знал, потому что жизнь такого огромного начальства наблюдал совсем издали.

«Козлик» Гриши Петя не инспектировал ни разу, на это было много резонов. Во-первых, «козлик» таких, правда чуть попроще, чуть похуже оборудованных самодельными утепленными кузовами, ну, без ковровых красных дорожек на сиденье, в поселке было несколько. Одна такая машина была у начальника Кандалакшстроя, вторая — у начальника еще не достроенного алюминиевого завода и третья — у главного инженера Нивагэстроя Васильева Анатолия Федоровича. Шофер у Васильева был отчаянный матерщинник, даже дети у него сначала учились говорить по-матерному, потом уже остальным словам, и поэтому Петя инспектировал эту машину, только когда видел рядом с водителем самого Анатолия Федоровича, чья узкая щеточка усов под носом вызывала в Пете уважение и доверие. Увидев Петю с поднятой рукой на обочине дороги, шофер Васильева, бросив взгляд на непроницаемо серьезного Анатолия Федоровича, тормозил и, не решаясь материться при хозяине, спрашивал:

— Ну, чего тебе, чучело гороховое?

— Инспектор Петя, — представлялся Петя, прикладывая руку к картузу. — Ваши права, товарищ водитель, и путевой лист.

Первый раз Анатолий Федорович так взглянул на своего водителя, которого, кстати, тоже звали Петром, что тот тут же полез в нагрудный карман за правами и потянулся другой рукой за путевым листом, заткнутым за светозащитный козырек. Когда машина была остановлена вторично, то есть полтора уже года спустя, прошлой зимой дело было, Анатолий Федорович тут же заявил:

— Товарищ инспектор, мы очень спешим.

— Понимаю, — серьезно и строго сказал Петя и, чтобы остановка не казалась пустой придижкой, заглянул внутрь машины: — Посторонних нет? Можете следовать!

Так что Васильевский Петька, полная противоположность Анатолию Федоровичу, лихач и пьяница, был проинспектирован.

Требуется, разумеется, разъяснения бросающееся в глаза несколько странное соединение человека английского типа, инженера высшей квалификации, стремившегося окружить себя людьми

и предметами только высшей пробы, с пьяницей и матерщинником, шофером Петром, ездившим нагло и рискованно.

Соединительным звеном между этими далекими друг от друга и по интересам и по развитию людьми служила собака Альма, немецкая овчарка, разумеется, тоже высшей пробы, признававшая над собой безраздельную власть только трех человек на свете: самого Анатолия Федоровича, его жены и шофера Петьки. И более всего при легендарной своей свирепости Альма питала какое-то неисчерпаемое доверие и любовь, которых хватило бы и на полчеловечества, исключительно к Петьке, позволявшему собаке подпрыгивать и лизать его нос. Когда жена главного инженера уезжала в Ленинград проведать сыновей, учившихся на специальных отделениях физико-математического факультета университета, собаке гулять было не с кем, хозяин пропадал почти целый день в управлении и на обширном пространстве стройки. Если же и хозяин отбывал в командировку или вся семья уезжала в отпуск, проблема Альмы вставала во всей остроте. Собака, прошедшая великолепную выучку в специальном питомнике, переучиваться не желала, привычек не меняла и не хотела знать никого, кроме хозяев и Петра; всех остальных она свирепо облаивала и постоянно стремилась если не загрызть, то хотя бы укунить на память, невзирая на пол и возраст. Особенно люто ненавидела Альма нищих и вообще бедно одетых людей. Нельзя сказать, чтобы в поселке нищих было много, в Кандалакше больше, но постоянно кто-то ходил от дома к дому, главным образом немолодые женщины, реже старики, и просили «Христа ради». Почему нищие выбрали для своего промысла эти скудные края, сказать невозможно, быть может, бессознательное убеждение в том, что бедностью люди делятся легче и охотней, чем богатством и достатком, удерживало их в этих полукаторжных краях.

В пору отсутствия Анатолия Федоровича на стройке Петр приходил или приезжал выгуливать Альму, как правило, в нетрезвом состоянии. Иногда это состояние было столь серьезным, что складывалось впечатление, будто бы не Петька выгуливает Альму, а умная собака-поводырь вывела для проветривания человека, тяжело пораженного ипритом или фосгеном. В такие минуты Альма не рвалась с поводка, не заливалась иступленным лаем на все вокруг, а деликатно натягивая сворку, чтобы не уронить своего благодетеля, помогала ему передвигаться от крыльца к столбу и от столба к сараю, где у Альмы были контрольные точки. Иногда она даже садилась на землю; выжидая, пока Петр соберется с силами для нового небольшого перехода, и, сокращая прогулку до минимума, увлекала Петьку обратно в дом, глубоко понимая, что в ее присутствии никто не сможет прийти Петьке на помощь, да и не посмеет. Это маленькое представление собирало немало зрителей, равно восхищавшихся и умом собаки, и такой верностью своему долгу, предписывавшему дважды в день собаку выгулять.

Таким образом, и сам главный инженер, и его семья пребывали в некоторой зависимости от шофера, но сам он по простоте душевной этого не понимал и был искренне убежден, что они с Анатолием Федоровичем как бы друзья, а может быть, и больше.

С казовскими и Кандалакшскими шоферами у «инспектора» Пети были отношения вполне деловые и не перераставшие в дружеские лишь потому, что сам Петя, не мог себе позволить переступить какую-то грань, за которой он уже не сможет быть справедливым, но строгим.

Когда Петю в гараже хотели подловить на трусости и спрашивали, инспектировал ли он машину Николая Ивановича, Петя подкусывание пропускал мимо ушей и, поправляя пустую кобуру на правом боку, резонно заявлял: «Доверяю». Петя не лукавил, так оно и было. Особенно это доверие укреплялось после того, как им случалось вместе обедать. Петя вместе с матушкой, а иногда и один ходил в орловскую столовую на станционном узле, чтобы взять домой обед на два-три дня со скидкой, как-никак пятнадцать процентов, и вот во время этих походов ему не раз доводилось видеть, как обедали Николай Иванович и Гриша. В сооруженный из крашенных в зеленое досок балаган, устроенный на скалистом бугре, где нельзя было поставить ни мастерскую, ни склад, ни компрессорную, Николай Иванович почти вбегал по высокому деревянному крыльцу в драповой кепке с большим козырьком, в американском кожаном пальто, колоколом расклепленном от пояса вниз, в кирзовых сапогах, перепачканных грязью и бетоном. Следом за начальником входил Гриша, и, пока мыл руки, на столе уже появлялось и первое и гуляш. Для Николая Ивановича еще ставился стакан водки, причем всегда один. Водка, продававшаяся в столовой свободно, выпивалась залпом, как лекарство, после чего обед съедался без жадности, но быстро, намного быстрее, чем управлялся с едой Гриша, и, пока шофер добирал второе и возился с киселем или компотом, Николай Иванович спокойно курил. Иногда во время обеда Петя слышал, как Николай Иванович отвечает на приветствия, перебрасывается словами с обедающими, шутит в зависимости от настроения и,

одеваясь, говорит Грише: «Давай, Гриша, на Морской слетаем» или: «А теперь, Гриша, на Головной», — но вот голоса самого Гриши Петя никогда не слышал. Так что, если бы Петю спросили, в каких отношениях он с Николаем Ивановичем, тот бы, не задумываясь, ответил: в хороших, — а вот о своих отношениях с Гришей ему ответить было бы значительно трудней. Вот почему, когда в поселке появилась «Победа», Пете пришлось пережить момент высшего напряжения всех своих душевных сил и разума.

«Победу» прислали словно в насмешку — кабриолет со съёмным брезентовым верхом. Грища долго ждал, когда же зной принудит его воспользоваться замечательным свойством кузова, и наконец в установившейся в начале августа жары по улице Чкалова и Кандалакшскому шоссе прокатился впервые в истории автомобиль с откидным верхом а раскрытом виде. Верх этот был явно рассчитан не только на устойчивый тёплый климат, но и на асфальтированные дороги; ни того ни другого в ту пору ни сама, Кандалакша, ни тем более ее окрестности предложить не могли, и, потратив полдня на выбивание пыли и сборку, Гриша задернул верх своей роскошной легковушки навсегда. Петя машину с открытым верхом не видел, о чем жалел искренне, но рассказам очевидцев вполне доверял.

Праздных людей на Ниве-III не было, с транспортом было туго, все, что могло ездить, чинилось, латалось, снова чинилось и ездило уже вторую, третью и даже какую-то сверхзагробную четвертую жизнь, при том, что и первая жизнь на этой земле, на этих дорогах была отпущена нашим машинам совсем коротенькая, чуть дольше держались послевоенные «доджи» и «студебеккеры». Отсутствие запасных частей и природная русская смекалка порождали такие гибриды, таких монстров, при виде которых нормальный человек мог бы повредить свой разум.

Почему же вечно спешащие водители самосвалов, надрывно воющих на подъеме от Кандалакши к Ниве грузовиков и даже стремительные дежурные полторки останавливались, покорные строгому жесту безумного милиционера?

Когда какая-нибудь машина проносилась мимо, никак не реагируя на повелительный жест длинного нелепого человека в милицейской фуражке и с пустой кобурой на перехваченном ремнем ватнике, он впадал в обиду и недоумение; шум проехавшей машины оставался в его гордо поднятой голове, превращаясь в какой-то невнятный шелест, шепот, лепет и звон. Постояв так минут десять—пятнадцать, как бы не теряя надежды, что водитель опомнится и вернется, Петя прислушивался к этим неясным звукам в себе и, взмахнув вдруг руками, начинал стремительно двигаться в совершенно непредсказуемом направлении. Он шагал, ноги отставали, гонимый обидой, недоумением и неразличимым многоголосым злобным шепотом в голове, бросив на произвол судьбы мать, два гаража и целую милицию, занимавшую половину барака на 3-й Полярной улице. Несколько раз его видели шагающим в Кандалакше, один раз он ушагал за реку и был остановлен у взрывскладов женщинами, собиравшими морошку, а дальше, в сопках, его остановить было бы уже некому; заворачивали его и с ближних мест, от хлебозавода, и с дальних, с Головного узла, и неведомо куда могли бы его завести размашистые решительные шаги, если бы среди вольной публики, по большей своей части совсем недобровольно заселившей эти каторжные края, не находилась какая-нибудь душа и не окликнула зашагавшего Петю.

К счастью, большинство путей в поселке вело к магазину, двухэтажному, довоенной постройки дому из почерневшего бруса, с продуктовой торговлей на первом этаже, промтоварной на втором и круглогодичной торговлей семечками из мешка под клубной афишей на углу; другие пути приводили в чайную, крашенный в голубое обширный деревянный дом с портиком вроде веранды, из брусчатых колонн у входа; третий путь вел мимо столовки рядом с милицией или мимо шалмана по дороге в Лесной, где всегда и почти при любой погоде в дневное время клубился народ.

Никто не помнил, когда Петя в поселке появился, но явно уже после войны. Ни во время, ни в пору, когда нивагэсовский коллектив и часть оборудования были эвакуированы на Облакетку под Усть-Каменогорск и поселок опустел, никто никакого Пети не знал и не помнил.

Наплывное население поселка представляло собой затейливое смешение лиц, сословий и народов. Среди инженерной публики были и люди, запятнавшие свою юность кадетским прошлым, один бундовец, разоружившиеся левые эсеры и один законченный монархист, белоподкладочник из путейцев Десятниченко. Естественно, вся эта публика в круг общения Пети почти не входила.

Техника и рабсила, даже в первую очередь рабсила, а потом уже техника, были главной заботой Николая Ивановича. Эвакуация, где сам он не был, оставаясь здесь на оборонных работах, сохранила ему лишь итээровскую часть коллектива. Для производства работ требовались ежедневно тысячи рабочих рук, пришлось перекачивать спецпереселенцев, пользуясь поддержкой бюро обкома, из самых разных мест обширного Кольского края, в том числе и из Апатитов и даже Кировска.

Немецкие и итальянские военнопленные, полученные в конце сорок пятого года, не прижились; зато наши пленные, полученные из немецких лагерей через репатриационные службы, очень своевременно, как раз в предпусковой период, дали очень хороший контингент, тот же Гриша Вартанян, например. Не вылезавший из Москвы и Ленинграда, Запорожья и Харькова Родченко, замначальника строительства, умевший достать все, начиная с «Победы» первого выпуска до фондируемых материалов и круглогодичного сена для подсобного хозяйства, не имевшего своего пастбища, Родченко, способный пригнать на стройку и провести через Стройбанк вагон предметов интимного мужского туалета для гидроизоляции запалов на взрывных работах, оргнабор вел слабо, и вопрос рабсилы держал стройку в напряжении постоянно.

Мордва, армяне, украинцы, удмурты, много вологодских и вообще россиян из разных далей и мест, перемешанные в великом котле и зачерпнутые случайным ковшом одной из тысяч строек, приближавших социализм, чувствовали себя на промерзшей каменистой земле жителями временными и землю эту своей не считали. Тем удивительней, что вся эта разношерстная и даже несколько озлобленно живущая публика, являя смешение нравов и рас, обнаружила снисхождение и милосердие единственно в отношении этого Пети.

Обломком какой скалы, каплей какого прилива осел он здесь со своей матушкой в клубном бараке поселка Лесного, установить так и не удалось.

Если в нашем лаконичном повествовании пришлось уделить все-таки несколько страниц Николаю Константиновичу Черкасову, человеку действительно великому и настолько знаменитому, что, казалось бы, достаточно было лишь назвать его имя, чтобы этим было сказано все, то о Николае Ивановиче, с чьим именем связана вторая минута триумфа в Петинной жизни, сказать необходимо чуть подробней, хотя многие могли не только знать о нем, но и видеть его фотографию на первой странице газеты «Правда» среди лиц, награжденных Сталинской премией первой степени за возведение первой в мире подземной гидроэлектростанции.

Нива-III и ее строительство были, естественно, окружены публичным молчанием, потому о пуске сообщила только одна радиостанция, «Голос Америки», нещадно переврав факты и назвав станцию вместо «Нива-III» — «Ниво-III». Злые языки из домашних поговаривали, будто премия дана за то, что станция была пущена 21 декабря 1949 года. Но зато все языки были прикушены, когда по указанию Николая Ивановича был заживо сварен машинист железнодорожного подъемного крана Вася Попов. Дело в том, что элементы шандорных затворов были доставлены из Ленинграда на стройку с опозданием на два месяца, и Николай Иванович лично дал указание немедленно приступить к разгрузке с тем, чтобы сразу же на специально изготовленных в механических мастерских санях доставить полученное оборудование на Головной узел для монтажа. Работы велись в воскресенье. Ни один тракторишка эти махины по нашим дорогам протащить не мог. Николай Иванович договорился с танкистами, те прислали свои «тридцатьчетверки», Вася Попов снял у них аккуратненько башни и поставил на подготовленные подклеты из шпал, чтобы танкам не возить лишнюю тяжесть. Потом приступили к разгрузке элементов шандорных затворов. Работа шла с риском, ветер порывами доходил до двадцати пяти метров в секунду. Николай Иванович был здесь же, на станционном узле, вместе с командиром танкового полка полковником Голиком, приехавшим посмотреть на необычную работу своих экипажей. Замечательный бригадир такелажников Володя Моисеев, кстати дважды одними полиспадами вытаскивавший Голику провалившиеся в болото танки, не давал листам парусить, и разгрузка шла нормально, но пятнадцатый, предпоследний лист все-таки поймал ветер, а может быть, уставший и промерзший на ветру, как собака, одноглазый Володя что-то упустил, и железнодорожный кран, державший на полном вылете стрелы огромный рыжий металлический лист, вдруг потянулся за ним. Васе надо было майнать немедленно, бросать груз, но ему было не видно, есть ли внизу люди, и, надо думать, решил, что удержит, но не удержал. Кран рухнул. Все заняло секунды две-три. Ударивший из лопнувшего котла пар заживо сварил Васю Попова, скрыв в непроглядном клокочущем и обжигающем облаке свое преступление. Когда пар рассеялся, все увидели синее с малиновым пятнами лицо раздавленного и сваренного Васи Попова. На метеостанции Николай Иванович положил перед Настей Бочаровой плитку шоколада «Золотой ярлык» и получил справку о том, что порывы ветра 27 февраля достигали лишь пятнадцати метров в секунду. Прибывший из Ленинграда инспектор котлонадзора Павел Иванович Змеенков, тайно и безнадежно влюбленный в жену Николая Ивановича, никогда бы дело до суда не довел, а если бы и захотел, никто бы ему этого не позволил, сам Жимерин, тогдашний министр, никогда бы не дал обезглавить стройку в разворот пуска наладочных работ. К этому можно сказать, что накануне, летом, когда Николай Иванович в разгар воскресного пикника на берегу Нивы решил один на один покорить последний год клокочущую на камнях бешеную реку и, переплывая ее, был снесен на три

километра вниз, участвовавший в пикнике Вася Попов, пока искали Николая Ивановича, наплакал полную кепку слез.

Кроме героического и самоотверженного покорения Нивы, для характеристики этого человека надо припомнить хотя бы еще один эпизод, относящийся к зиме сорок первого года, когда, отправив коллектив в эвакуацию, он уже перешел на Оборонстрой и завершал консервацию стройки.

Надо напомнить, что несколько предвоенных лет были на стройке чрезвычайно нервными, люди жили в какой-то даже неуверенности, время было бурное: то исчез Думлеров, потом взяли Верещака, таскали, таскали, но потом все-таки выпустили Мигаловского. Свирепствовал Иван Гапоненко, прибывший с Днепрогэса с орденом Ленина. Делать он ничего не умел, поболтался год в управлении, перешел в Кандалакшское НКВД, а там его через год-полтора самого, как у них говорится, шлепнули. Вот почему, готовя стройку к длительной консервации, Николай Иванович решил непосредственно ознакомиться со всеми личными делами, хранившимися в архиве отдела кадров. Листая дело за делом, просматривая биографии буквально каждого, особенно итээровцев, он приходил к твердому убеждению, что эти документы никогда не должны попасть в руки врагов, он так и сказал Анне Ивкиной, отвечавшей за архив отдела кадров: «Давай-ка, Анечка Ивкина, подготовим актик и ввиду нависшей угрозы вражеского вторжения ликвидируем этот опасный материал». По акту количество единиц хранения должно было резко сократиться, а вместе с ними должны были уменьшиться хлопоты и опека. Анна Александровна с готовностью в три дня подбила актик, и в то время, когда под Москвой шло знаменитое сражение за Москву, сидя рядом у печурки в опустевшем здании управления строительством, они жгли, жгли и жгли пухлые досье, оставляя в картонных папочках со шнурками только выписки из приказа о зачислении на работу, для стажа и высчитывания полярной надбавки и распоряжения об уходе в очередной отпуск. Располагая этими сведениями, даже самый хитроумный враг навряд ли мог нанести большой урон стране и ее многострадальным гражданам, собравшимся строить ГЭС под нежарким полярным солнцем.

Краткое отступление в биографию начальника строительства было необходимо лишь для того, чтобы читатель смог оценить основательность сомнений и внутренних препятствий, стоявших на пути Пети, решившего проинспектировать бежевую «Победу», и объяснить, почему он так долго собирался с духом.

К лету пятьдесят второго года Петя был уже опытным инспектором, он многое знал и многое мог предвидеть; рассчитывая важный шаг, он старался взять во внимание все возможные неожиданности, чтобы действовать наверняка.

Для начала надо было решить: инспектировать Гришу или Николая Ивановича тоже. И Петя пошел ва-банк, молчаливому Грише он втайне все-таки не доверял.

Теперь надо было выбрать день.

И здесь Петя сделал для себя маленькую уступку, он решил инспектировать в воскресенье. Быть может, в его смутном мозгу, каким-то образом отпечатались самые важные и рискованные дела проводить в воскресенье. С одной стороны, лучше всего было бы остановить машину в поселке, на глазах публики, но это было, с другой стороны, делом и совершенно рискованным: если машина не остановится, многие будут над Петей смеяться, а начальник всегда имеет право не останавливаться, только не все об этом знают. Поэтому для инспекции он выбрал участок шоссе между Нивой и Кандалакшей, два километра от военкомата на окраине Кандалакши до фундамента нового клуба, который решили построить при въезде на Ниву. Примерно половину этой дороги занимала горка, поднимающаяся в сторону Нивского поселка, на горке останавливать не рекомендуется, можно, конечно, убедиться в неисправности тормозной системы, только это может очень дорого обойтись нерадивому водителю и беспечному завгару. Останавливать машину под горой, когда она летит сверху, окутанная клубами пыли, тоже не очень хорошо, но и перед горкой не лучше, когда ей нужно разогнаться и набрать скорость, таким образом оставался совершенно небольшой, метров двести, кусок дороги от фундамента нового клуба до начала спуска. Здесь дорога делала поворот, но место было вполне широкое и для разговора удобное.

Два воскресенья провел Петя на позиции, шесть раз мимо пронеслась бежевая «Победа» с Николаем Ивановичем, но рука, скованная размышлениями, не поднималась. Узнав в гараже, что начальник строительства в конце июля собирается в отпуск, инспектор наконец решился.

Зорким глазом Петя заметил «Победу», когда она показалась только еще около военкомата, через пару минут она влетит на горку и будет здесь на повороте. Нет, не нужно, чтобы тебя видели издали, настоящий инспектор появляется внезапно и бьет неотразимо.

Петя поправил португую, укрепил на голове фуражку, будто ему предстояло не просто остановить машину по правилам движения транспорта, а прыгнуть на ходу ей на крышу.

Едва машина показалась из-за поворота, изрядно потеряв скорость на подъеме, Петя шагнул на проезжую часть с обочины и сделал повелительный жест рукой.

Подъехав к инспектору, машина остановилась, не глуша мотора.

Гриша приспустил стекло и вопросительно посмотрел на Петю.

Николай Иванович не то чтобы внутренне замер, но как-то собрался, косил глазом на Гришу и боялся что-нибудь сделать не так. Сидевший на заднем сиденье одиннадцатилетний сын начальника, стриженный наголо, с маленькой челочкой пятиклассник, тут же перескочил из-за спины отца к левой дверке, чтобы получше видеть Петю, и даже приспустил стекло.

— Права, товарищ водитель, и путевой лист, — проговорил Петя, глядя даже не на Гришу, а куда-то вдаль, непрерывно наблюдая возможные беспорядки на всем обозримом пространстве дороги.

Гриша полез за правами.

— Вы не представились, — строго сказал Николай Иванович.

— Извиняюсь, — сказал Петя, сложился пополам и заглянул в окно, приложив ладонь к козырьку: — Инспектор Петя.

Мальчонка, сидевший сзади, фыркнул и повернул свое смеющееся лицо к отцу. Отец не слышал этого смеха.

— Николай Иванович, — передав права Пете, сказал Гриша, — а путевки-то у меня нету.

Патриархальные порядки позволяли Грише больше времени заниматься машиной, чем бумажной ерундой.

— Влипли, — вскинув густые брови, сказал Николай Иванович.

— Путевочку не вижу, — нетерпеливо напомнил Петя, не собираясь отдавать права.

— Ну ладно тебе, — вдруг раздался с заднего сиденья грозный голосок мальчика.

Николай Иванович обернулся к сыну, но смолчал, распахнул дверку и вышел к Пете.

Сердце у Пети билось так сильно, что он не слышал шума все еще работающего двигателя.

— Товарищ инспектор, здесь скорее моя ошибка, чем водителя, я не мог точно сказать: мы только на рынок поедем или завернем еще в парикмахерскую. Понимаете? Вы бы путевку все равно задержали.

Петя ликовал, душа его пела, он хлопывал правами по ладони и смотрел мимо невысокого роста человека, с трудом подбиравшего какие-то нелепые оправдания. С этим человеком разговаривать было не о чем. Петя посмотрел куда-то на вершины сопки за рекой, не глядя протянул в окошечко права Грише и строго сказал:

— Можете следовать... — и только после этого перевел глаза на человека в кожаном пальто, стоявшего рядом.

— Большое спасибо, — как-то торопливо сказал начальник строительства. Секунду подумал и добавил еще раз: — Спасибо, — подкрепив сказанное коротким и даже несколько суетливым жестом головы.

Странное дело, но Петя овладел грацией подлинного инспектора ГАИ, который останавливает вас и наказывает, а впрочем, может быть, даже и милует, как бы мимоходом, с тем безучастным видом, почти не замечая вас, что заставляет проникнуться всей ничтожностью своего существа рядом с человеком, непостижимо превосходящим вас со всеми вашими прегрешениями, оправданиями, клятвами и жадной свободой. Никого и никогда, ни за Сталинскую премию, ни за назначение начальником, ни за прием в партию после девятилетнего кандидатского стажа, а перед войной и такое водилось, Николай Иванович не благодарил вот так, в сознании своей вины и собственной как бы незначительности.

Мальчишка на заднем сиденье смотрел на отца и ничего не понимал, он знал, что отец умеет валять дурака, но этот жест головой, это «спасибо-спасибо»...

— Ну, Гриша, с тебя причитается, — сказал Николай Иванович, садясь наконец в машину.

— Ты что с этим идиотом объяснялся? — вдруг раздалось с заднего сиденья. Сын, слышавший разговоры по телефону даже с министром и секретарем обкома, привыкший видеть, что сношения с высшей властью, почитаемой отцом, и даже выполнение ее приказаний может сочетаться с глубокой сдержанностью и достоинством, вдруг увидел отца, униженного, готового признать свою вину, и даже не свою — и перед кем? — перед этим долговязым придурком...

— Останови, — негромко сказал Николай Иванович, вышел из машины и открыл заднюю дверку, секунду помедлил, полагая, что сын догадается, но тот только моргал глазами, тогда отец за руку выволок недоумевающего пацана: — Проветрись и подумай!

Обе дверки захлопнулись, и машина укатила.

Петя, еще не пришедший в себя, случившегося за поворотом дороги не заметил.

А теперь хотите знать, почему Петя был так нетороплив и похлопывал по левой ладошке правами Гриши Вартаняна, единственными безусловными его правами, и не спешил простить нарушителя, хотя за него просил извинения сам начальник строительства? Зорким глазом Петя увидел мелькнувшую у школы машину полковника Богуславского, сверкающий, как начищенный черный ботинок, трофейный «опель-капитан». Ему даже не верилось, что машина может проехать мимо него в ту минуту, когда он инспектирует «Победу» начальника строительства. К «опелю» начальника лагеря полковника Богуславского у Пети подступа не было, номера на машине были военные, да и водитель был из расконвоированных, какой-то смурной. Когда он ждал хозяина на улице и к нему подходили с разговорами, он отвечал односложно, а то и вообще не отвечал, делая вид, что не слышит, то ли так уж он дорожил этим своим блатным местом, то ли ему и по эту сторону казалось, что он на зоне, разве только обнесенной такой широкой оградой, что сразу и не увидишь, где она кончается, где начинается. Петя с одобрением несколько раз осматривал машину, когда она стояла около поликлиники в больничном городке, где работала жена Богуславского Ирина Константиновна. Петя высказал шоферу свое одобрение за внешний вид машины и состояние протектора на колесах: на передке резина была получше, сзади похуже, хотя одинаковый рисунок протектора был только на задних колесах. Водитель в ответ на Петину похвалу так тихо, не разжимая рта, сказал: «Спасибо», — что Петя, вмиг почувствовав всю меру своей власти над этим тихим человеком, решил его больше не трогать. Для многих был неясен вопрос, почему Богуславский не позволит своему расконвоированному шоферу отрастить волосы хотя бы и на два-три пальца. Держать вот так при себе расконвоированного зэка, не придавая ему цивильного вида, и не иметь при нем охрану, в этом, конечно, был шик. Это все равно что ходить по поселку с волком, причем без поводка, удерживая его в повиновении и кротости одной лишь силой своей власти. Но все дело было в ревности. По долгу многолетней службы, по глубокому пониманию жизни, в которой он был не последним винтиком, полковник Богуславский готов был подозревать всех и во всем. Зная все настоящее и все прошлое своей красавицы жены, мысленно даже любуясь ее безупречной биографией, он мог подозревать ее только в одном — в супружеской неверности, мысля эту неверность как бы футурологически, допуская как возможность. Однажды Богуславский разрешил своему шоферу отпустить волосы, но когда Ирина Константиновна при нем сказала: «Как вам идут волосы подлиннее», — тут же приказал обкорнать шофера под «нуль», помня о патологическом страхе, какой вселяли в душу его жены стриженные зэки.

Верность мужу была ее желанием, а не обязанностью, и не будучи по природе женщиной блудливой, она постепенно развращалась, ища выхода из-под опеки, слежки и нечистого внимания, направленного на нее людьми либо стоявшими в зависимости от ее мужа, либо желавшими оказаться ему полезными. Ирина Константиновна знала, что за ней следят, и изредка изменяла Богуславскому, ошеломляя каждого нового своего избранника внезапностью и полнотой чувств, требовавших немедленного удовлетворения. Умный Богуславский в больнице или в поликлинике, куда устраивал работать Ирину Константиновну, без труда находил наиболее опасного в том самом футурологическом смысле мужчину и, приглашая его для доверительной беседы на темы государственной безопасности, заодно, как знак особой расположенности, поручал и заботы нравственного порядка, в том числе и в отношении своей супруги. Частая перемена мест жительства, а вместе с ними и мест работы, породила у Ирины Константиновны уже привычку в течение первых двух-трех месяцев без труда находить своего опекуна и где-нибудь в ординаторской или даже, один раз, в бельевой аргументами безусловно убедительными превращать в считанные минуты своего врага в самого близкого и верного друга. Эта тайная война, в отличие от всех других войн, достойна всяческого поощрения, поскольку в ней не было побежденных, были одни только победители, иногда трое, а в Оленьей и на Иове даже четверо, поскольку Богуславский умудрился завербовать по паре соглядатаев. Вот так, обратив врага в друга, Ирина Константиновна всякий раз испытывала и полно переживала освобождение, свободу, необходимую ей вовсе не для фиглей-миглей. Сам ее ритм, ее стать и поступь были чрезвычайно далеки от забот любовных приключений, и невероятные происшествия в ординаторской или бельевой, подчас даже не имевшие продолжения, требуют возвышенного подхода, свободного от предрассудков плоской морали.

Нет-нет! Не спешите отвращать ваше лицо, полное искренности и презрения ко лжи, от Ирины Константиновны.

Женщина не лжет!!! в ту минуту, когда говорит неправду, она просто таким способом высказывает заботу о вас, просто желает вам же добра, спасая вас, в меру своей умелости, от горечи и досады.

Согласитесь, признайтесь: власть женщины — это высшая власть, и какая же высшая власть не имеет права на тайну, о которой, как правило, знают все, но изображают незнание. Такова сила власти!

Не избалованный удовольствиями, до которых так охоча жизнерадостная юность, даже несколько обманутый по прихоти злой судьбы, Петя влюбился сразу и безраздельно, даже не влюбился, а полюбил и жил всей полнотой этого нешуточного чувства. Ирина Константиновна стала для него страной красоты и счастья с первого же мгновения знакомства, с той самой минуты, когда его привезли из гаража в поликлинику с обваренной рукой и сунули в кабинет врача. Безмерный и неодолимый восторг охватил Петю, когда она коснулась его руки и попросила закатать рукав рубашки.

Каждое ее движение, взгляд, приближение, касание рук и касание воспаленной кожи шпателем с мазью, пахнувшей копченой рыбой, — все это было воплощением окончательной полноты общения, к которой только и может стремиться закоренелый любовник. Она принадлежала ему вся, целиком, и улыбкой, и голосом, в котором не было слов, а только веяние звуков, и женское колено, открывшееся под разошедшимися полами белого халата, он, мог поклясться, видел первый раз в жизни.

Есть писатели, которые с удовольствием рассказывают о себе и о своих близких такие вещи, рассказывать которые вовсе нет никакой надобности, особенно когда речь заходит о делах сердечных. Но Петя!.. Нет, Петин роман чист и бескорыстен, и каждое его мгновение не оскорбит самый строгий вкус, жаль только, что мгновений этих история сберегла не так уж много.

Все время, пока не заживала рука и приходилось ежедневно, а потом и через день ходить на перевязку, Петя был переполнен безмерным, неодолимым восторгом перед Ириной Константиновной. Бледные от волнения щеки в сочетании с пламенными глазами делали Петю по-своему красивым. Короткие и четкие ответы на все вопросы пробудили любопытство Ирины Константиновны, и однажды она спросила: «Вы были военным?» Петя пожалел, что его ватник, португеза с кобурой и кубанка остались в гардеробе. Чтобы не оставить вопрос без ответа, Петя с достоинством сказал: «Я и сейчас немножко военный, — и, увидев, как вспыхнули глаза Ирины Константиновны, поспешно пояснил: — Служу в Государственной автоинспекции». Ирина Константиновна вдруг нагнулась и подула ему на освобожденную от бинтов обваренную руку, подула, а потом приступила к перевязке.

В каждую минуту своей последующей жизни Петя мог почувствовать это дуновение, это отданное ему дыхание любимой. Большинство людей, чтобы продлить и сохранить радость посетившего их чувства, делают на руках наколку, полагая, что синяя тушь, загнанная под кожу, способна удержать, сделать неистребимым высокое мгновение, пережитое когда-то. В гараже неплохие наколки делал пришедший с флота Серега Пархоменко, он даже предлагал Пете наколоть «Валя», заметив, что именно рыжая Валька с Ручьев занимает внимание Петиного сердца. Петя отказался, а потом все-таки спросил, можно ли выколоть имя с отчеством. Серега был пьян и сказал, что с отчеством нельзя, и о просьбе забыл, а Петя второй раз напоминать не стал, удовлетворившись выразительными шрамами на правом запястье, заживающими плохо и долго по причине нехватки в организме витаминов.

Высокая любовь — свободная любовь, и Петя был в своей страсти совершенно свободен от каких бы то ни было обязательств, в том числе и от обязательства обладания, но, как и все счастливые влюбленные, он был всецело в плену опьяняющих грез.

Петя даже не мог бы объяснить толком эти томящие душу желания, те, что нормальные люди называют «грезами».

Нетерпеливость сердца, стремящегося скорее насладиться счастьем, была чужда Пете. Тот самый высокий и первый миг любви, когда обреченный любить еще не знает своей судьбы, но уже очарован и живет радостью этого очарования, — этот счастливый миг, еще не знающий тоски зыбких надежд, печали ревности, унылой пустоты разлуки, — мгновение, которому суждены лишь недолгие часы и дни для сердца, жаждущего взаимности, для Пети остановилось, замерло в самой своей высокой точке и освещало все его существование, как незаходящее полярное солнце во всякое время дня.

Когда на первой перевязке Ирина Константиновна нагнулась к нему и он почувствовал запах ее волос, он понял, что никогда в его душу не проникало такого легкого, веселого огня, колющего, как искорки от бенгальских свечей, которые зажигали в клубе на елке, и этот запах светлых, как сосновая смола, волос казался ему запахом леса и чистой-чистой воды, огромной, как Плес-озеро. Потом он узнавал его, этот запах, когда весной весь поселок блестел и переливался на солнце гремучими

ворчливыми потоками талых ручьев или когда он стоял на мосту над Нивой, над водой, летящей, кипящей и клокочущей на камнях.

Чем чище и звонче была вода, тем отчетливей и полнее вспоминал Петя выбившиеся из-под белой шапочки волосы Ирины Константиновны, не умея сказать, какого они цвета, как не бывает цвета у стремительной живой воды, как нет цвета у глаз, память о которых хранит лишь блеск и веселое счастье видеть их перед собой.

Причуды мелкого разврата, загоняющие под душ любовников, никогда не сообщали соискателям обновленных желаний возможность даже на миг, даже на минуту испытать всю полноту обладания и единства, всю полноту слияния с предметом своего восторженного обожания, каковые испытал Петя, увидев однажды под дождем Ирину Константиновну.

Огромная радуга одним концом упиралась в море, быть может, прямо в каменистые корги на заливе, а другим, взлетев над сопками на полнеба, уткнулась куда-то далеко в Плес-озеро и делала дождь, пронзенный красным светом заходящего августовского солнца, праздничным, но немножко кровавым. Ирина Константиновна, застигнутая дождем врасплох, шла по улице Чкалова в сиянии своей красоты, не пряталась от окрашенных в красное струй, не спешила, а Петя заметил ее, хотя сам прятался под небольшим навесом у зеленого заколоченного досками ларька.

Он слизывал капельки со щек, слушал густой шорох дождя и думал в эту минуту как раз об Ирине Константиновне. Заметив ее еще издали, он тут же выскочил под дождь и двинулся ей навстречу, окунувшись в косые, просвеченные заходящим солнцем струи, переливавшиеся красными отблесками.

Он шел быстро, как и полагается человеку под дождем, но неотрывно смотрел на нее, на прибитые водой волосы, на ноги, грудь, бедра, облепленные платьем и представшие вдруг в ошеломляющей откровенности...

Вода — прародина всего живого — разом обнимала и соединяла их, и легкое, тревожное мечтание, рожденное еще прошлой зимой запахом ее волос, вскормленное и вспоенное всеми запахами чистой воды, что преследовали его уже второй год, это томительное, мучительное в своей неопределенности желание, превзойдя даже самую фантазию, осуществилось полно и празднично...

Читателю уже, конечно, припомнилась история несравненной Артеузы, бросившейся в море в поисках спасения от неотступного Алфея; вспомнилось, как предприимчивый Алфей, обратившись в реку, ринулся в море и настиг желанную...

Но Ирина Константиновна не искала спасения, а Петя не стремился к покушению.

И Карамзин сказал: «Удовольствия любви бесчисленны!»

Так же, как мы, постигая красоту неба, заката, пурги, не хотим присвоить их себе и обратить в собственность, так же и Петя, восхищенный женским совершенством, не обращал свой восторг в жажду собственности. Каждый миг общения с Ириной Константиновной и был для него мигом полного обладания предметом своей любви, впрочем, нам этого и не понять, зато легко можно представить, какие чувства испытал Петя, увидев «опель-капитан» в то самое время, когда он инспектировал «Победу» начальника строительства. День-то был воскресный, так что вероятность того, что в машине едет Ирина Константиновна, была очень велика. Так оно и случилось. Петя видел знакомое красивое лицо, подавшееся с заднего сиденья вперед и бросившее жаркий взгляд в его сторону.

Богуславский всегда сидел рядом с шофером.

Нарядное оперение Ирины Константиновны, скрытое в промелькнувшем черном ларце трофейного «опеля», более подходило не к тусклым небесам заполярной тундры, а каким-нибудь венским лесам или курзалам Баден-Бадена, кстати, для тамошних дам в свое время и сшитое. Ко времени описываемых событий венская мода, быть может, и переменилась, но Ирине Константиновне приходилось блистать в нарядах середины сороковых годов там, где застала ее пора расцвета и совершенства.

Что ж, не раз женам боевых офицеров, принимавших этапы из российских глубин, распределявших их по зонам и неусыпно содержавших контингент в строгом соответствии с предписаниями режима, приходилось украшать собой места, столь отдаленные от всяческой цивилизации, что чувство томления от неопределенности по достоинству легко понять, как чувство естественное и справедливое. Стоило бы на Ниве-III или хотя бы в Кандалакше появиться какой-нибудь австрийской баронессе, как местное население воочию убедилось бы, что австрийская баронесса против Ирины Константиновны ничего предъявить не может, только баронессы в Кандалакшу не заезжали, и поправить дело не мог даже полковник Богуславский, поставлявший Ирине Константиновне, как говорили все вокруг, продукты прямо из Ленинграда в специальном

вагоне, который цепляли к пассажирскому поезду, в связи с чем он имел неприятности от нового начальства, приведшие в конце пятидесят третьего года его за решетку и в лагерь, где он вскоре стал жертвой несчастного случая, то есть, попросту говоря, был жестоко убит.

Для наглядности же можно сказать, что Ирина Константиновна была высокой блондинкой, фигуру имела округлую, даже с некоторой склонностью к пышности, не переходящей, однако, в излишнюю полноту: гармоничная и соразмерная во всех своих крупных чертах, она блистала свежестью и здоровьем. Полковник Богуславский был всего лишь лет на десять старше своей супруги. Поэтические намерения, выдуманные в оправдание своего выгодного замужества, Ирина Константиновна ни от кого не скрывала и охотно рассказывала о неисчерпаемых преимуществах Богуславского перед ее сверстниками, не сумевшими сделать ее счастливой. Зато счастливый муж был, что называется, широк в кости, выглядел всегда молодцом, держал себя франтом, насколько позволяла суровая служба, а что касается роста, то в фуражке, сшитой Кандалакшским военоторговским кудесником Кырфом Алексеем Деомидовичем, он был несколько не ниже шагавшей с ним рядом жены. Серым глазам Ирины Константиновны не было чуждо выражение глупости, мгновенно пропадавшее, едва она увлекалась какой-либо мыслью или сосредоточенным желанием. В пору встречи с Петей она еще не утратила молодости, но уже обрела ту опытность и уверенность, которая позволяет гибкой душе красавицы осуществлять любые свои желания в полном согласии с собственными высокими принципами морали и нравственности. Не только ее приветливое лицо, но даже и плотная спина, облаченная в красивое платье, не раз приковывала к себе взоры не только мужчин, но и женщин.

Родом Ирина Константиновна происходила из Сум, где была старшей дочерью крупного сумского чекиста.

Чувство, охватившее Петю, при всей необъятности, при удивительной способности воспламениться, как уже было отмечено, даже от запаха чистой воды, наружу не рвалось и целиком умещалось в нем самом.

Иное дело — чувства Ирины Константиновны, готовые вырваться наружу, требовавшие немедленного удовлетворения, но не знавшие к тому путей, что заставляло страдать непривычную к страданиям Ирину Константиновну глубоко и неразумно.

Немало провинциальных романов, романов захолустья, начинается с музыки, случайно вырвавшейся из окон незнакомого дома и задевшей душу, сердце и все такое прочее героя или героини.

Вышеописанный Николай Иванович любил дома музицировать для собственного удовольствия. А Богуславскому дали квартиру на Кировской аллее, где по преимуществу жило начальство, но не в том доме, где обитал начальник строительства, главный инженер и директор эксплуатации Геннадий Алексеевич Волоков, а в таком же двухэтажном восьмиквартирном, сложенном из такого же точно бруса, но рядом. И потому совершенно естественно, что, услышав однажды звуки фортепиано, летевшие из окон на улицу, Ирина Константиновна поинтересовалась: «Кто так мило играет?» «Николай Иванович у нас играет», — не без гордости ответила соседка, Мина Львовна Быкова, жена начальника технического отдела. Ирина Константиновна смутилась и даже почувствовала свою вину за это «мило».

Любопытство, слегка окрашенное чувством вины... Что может быть благодатней этого зерна, способного на почве праздного женского сердца дать не только ростки и побеги, но и самые удивительные плоды. «Как хорошо он играет», — тут же поправились Ирина Константиновна.

Заехав в обеденный перерыв домой, Николай Иванович играл как раз плохо, ему только что привезли фотографию нот чардаша Монти, фотокарточка была небольшого размера, Николай Иванович, почти уткнувшись в ноты неморгающими глазами, сбивался, сердился на себя и от этого ошибался еще больше. Супруга Николая Ивановича, обладавшая слухом исключительным, на слух поправляла его, точно напевая мелодию, и тем только сердила мужа и сердилась сама, не умея переключить его внимание от Монти к остывающему обеду. Однако ноты, заказанные давно, были получены только что, и чардаш, в соответствии с натурой Николая Ивановича, надлежало исполнить немедленно и качественно.

Быть может, на Ирину Константиновну произвело сильное впечатление то обстоятельство, что, разбирая ноты, Николай Иванович играл, как говорят французы, *du bout des doigts*, кончиками пальцев — такое исполнение может тоже взволновать своей незавершенностью, легкостью и дальним обещанием всей полноты страсти и неудавшихся порывов.

Вот это вырвавшееся из дома музицирование и воспламенило в Ирине Константиновне опасное любопытство, так легко перерастающее в тревогу неутоленного желания.

Строительство ГЭС обошлось без помощи заключенных, удовлетворившись спецпереселенцами и репатрированными, и потому в отношениях служебных, столь легко и почти обязательно переходящих в провинции и в личные, и товарищеские, Николай Иванович и Богуславский не пересекались. Вовлеченная в круг общения друзей и товарищей по службе мужа, Ирина Константиновна почувствовала себя отгороженной от этих вольных людей, где подчиненные гордятся не высокими связями своих непосредственных начальников, не способностью этих начальников оказывать милость и покровительство, как говорил Богуславский, «двигать», а способностью играть на пианино.

Больше всего Николай Иванович любил играть фортепианные партии скрипичных сонат, память воскрешала скрипку отца, которому он аккомпанировал уже с тринадцати лет, и горькие паузы, строго соблюдавшиеся при исполнении, паузы для сольных скрипичных фраз, зияли загадочной пустотой, заполнявшейся слушателями сообразно возможностям собственного воображения...

Пете только казалось, что взгляд, брошенный сквозь окно пролетевшего черного «опеля», был адресован ему.

«Хоть бы заболел, черт!» — подумала Ирина Константиновна.

Чтобы сорокадвухлетний Николай Иванович не показался белой вороной со своим Рахманиновым и Монти на фоне заполярного строительства, можно было для примера вспомнить ту же Александру Ивановну Землякову, выпускницу Петроградской консерватории: ее дивное контральто искренне радовало, кстати сказать, Сергея Васильевича Рахманинова, посулившего написать Сашеньке романс, но в заботах отъезда обещания не выполнившего. Для убедительности надо назвать и Елену Анатольевну, жену заместителя начальника технического отдела Скоро-думова, обучавшуюся балету и на подмостках все того же клуба имени 25-летия Великого Октября в касках и пачке при глубоком недоумении половины зала, не предполагавшего такой меры откровенности в классическом балете, танцевавшую в праздничных концертах «умирающего лебедя». Да и жена самого «князя Кольского», Васи Кондрикова, бывшего в Заполярье правой рукой Сергея Мироновича Кирова, тоже была из балетных, из Ленинградского Малого театра, правда, уже в тридцать восьмом она отправилась на десять лет к другим женам врагов народа в Тобольск, а потом на Колыму, откуда в сорок восьмом году вернулась, но не в Мончегорск, а в Ленинград с новой фамилией.

Заполярная тундра только на первый взгляд кажется краем диким, пребывающим в стороне от большой жизни страны, но судьба едва ли не каждого второго покорителя суровой природы могла послужить основанием для создания настоящей драмы, а может быть, и трагедии, в которых так остро нуждаются наши драматические театры.

А вот биография Пети, как и вся его жизнь, не так уж длинна, и поэтому упускать из нее события знаменательные было бы неверно, даже в том случае, когда они не носили никакого поучительного и воспитательного характера.

Когда туристы, а особенно альпинисты достигают намеченной цели, они ликуют, веселятся, поздравляют друг друга, в общем, празднуют. Когда строители гидростанции достигают в процессе стройки намеченного рубежа: отсыпают временную перемычку, затопляют котлован, разбирают перемычку, пускают первый агрегат и т. д., они, естественно, тоже ликуют. Строительство же глубоко подземной электростанции, не имевшей аналогов в мире, разумеется, несло в себе множество оригинальных этапов, так сказать, промежуточных вершин, одолев которые были все основания отпраздновать победу. Одна из таких вершин в ходе строительства Нивы-III была достигнута на глубине пятидесяти метров.

В конце зимы, по сути дела, весной 1948 года была пробита подземная часть отводящей деривации. Шедшие навстречу друг другу от Станционного узла и со стороны Морского канала проходчики, отпалив аммоналом последние метры скалы, встретились, обнялись и приступили к празднованию. А проходка здесь шла не в морене, не в поверхностных ледниковых грунтах, а в основных породах, в той самой знаменитой скале финно-скандинавского щита, никогда, даже во времена величайших всемирных трансгрессий моря, не уходившего под воду и потому являющегося самой древней сушей на земле. Вот в недрах этой суши и произошла встреча. Оси обоих туннелей, шедших навстречу друг другу, сошлись благодаря немалому искусству главного маркшейдера стройки Зенцова так точно, что для их протирки и скрепления было доставлено непосредственно в туннель несколько ящиков водки и кой-какая закуска, был и спирт; казалось даже, что где-то под землей ударил непересыхающий спиртовой родничок, потому что, когда убогаторенные начальники, выпив в сыром подземелье по символическому стакану водки, а потом по глоточку с самыми заслуженными героями дня, во избежание окклюзии предложили всем подниматься наверх,

народ двинулся очень неохотно. Анатолий Федорович Васильев, человек в отношении алкоголя совершенно сдержанный и вообще в высшей степени дисциплинированный, поднялся в числе первых и, естественно, направился к своему «козлику», где за рулем уже в мертвецкую пьяным спал его верный шофер Петька. Как удалось Петьке прийти в такое состояние, находясь на расстоянии не менее двух километров от праздника, шедшего глубоко под землей, остается до сих пор неразрешимой загадкой. Машина стояла рядом с аэрационной шахтой «Б», снабжавшей подземелье воздухом и оборудованной здоровенной клетью для подъема и спуска людей.

Подошедший Николай Иванович, увидев смущенного Анатолия Федоровича и счастливо похрапывающего шофера, положившего морду на руль, коротко бросил:

— Напраздновался! — и хотел уже сесть в свою машину с трезвым Гришей за рулем, как передумал и вернулся к машине главного инженера. — А ну, мужики, давайте-ка его вниз! — скомандовал Николай Иванович и, сняв машину с тормозов, навалился, чтобы подтолкнуть ее к подъемнику.

Через пятнадцать минут веселого труда машина со спящим Петром была не только спущена на семьдесят метров под землю, но и откачена от шахты по подземному туннелю метров на сто.

Начальники уехали, и шофер главного инженера остался для забавы победителей.

Теперь уже расхотеться не было смысла, каждый хотел видеть Петькину рожу, когда он проснется.

Тут-то и вспомнили Петю-инспектора. Нашли его буквально за двадцать минут: Петя с матушкой были в орсовской столовке на Станционном узле, так как в последние дни весь поселок жил предстоящей сбойкой, и разговоры об усиленном снабжении столовки на Станционном коснулись и этой маленькой семьи, непосредственного отношения к стройке и победе не имевшей.

Хмельные люди вытащили Петю буквально из-за стола и поволокли на происшествие, сбивчиво, но серьезно объясняя суть происходящего.

Петя понял главное: пьяный за рулем. Пьяных за рулем он не любил: угрозы, брань, дерзость, полное неуважение власти — вот что такое пьяный за рулем, и если уж люди сами обращаются к нему за помощью, значит, дело совсем плохо. Петя не преувеличивал своих сил, помнил о своем мягком характере и еще раз с печалью ощутил пустоту в кобуре на правом боку.

Когда Петя разбудил своего тезку, тот не поверил глазам, матернулся. И собрался было продолжить сон, но лица за спиной Пети и странный гул голосов, звон какого-то железа, все непривычные для слуха туннельные шумы заставили его продрать глаза.

— Ваши права и путевой лист, товарищ водитель, — сдерживая волнение, произнес Петя.

Шофер, казалось, и не слышал вопроса:

— Ты мне лучше, чумичка, скажи, куда это я заехал?

Перемазанная публика в спецовках, ватниках, резиновых сапогах, по преимуществу хмельная, с восторгом смотрела спектакль в тусклом освещении дежурных ламп, на живую нитку развешанных по грубо прорубленным, еще не забетонированным стенкам туннеля.

Петька завел машину и, соображая, что надо двигаться назад, пер задним ходом, добравшись до машинного зала, не видя выхода, попробовал двигаться вперед, с вытаращенными глазами спрашивал: «Где тут у вас?» и «Мужики, как я сюда заехал, кто помнит?». Приказ начальника не говорить, как Петька сюда заехал, выполнялся строго и с удовольствием.

Петя-инспектор, как человек, по состоянию здоровья испытывавший к вину полное равнодушие и даже некоторое отвращение после неоднократных попыток друзей-шоферов приобщить его к выпивке, был со всей своей трезвостью на празднике в подземелье человеком лишним. Исполнив свою краткую роль серьезно и основательно, посмешив народ, Петя выпал в осадок, о нем даже забыли: он стал беспокоиться об оставленной в столовой матушке и устремился в поисках выхода. Сначала ему казалось, что он легко найдет подъемник, но забрел куда-то не туда и в растерянности метался по многоярусным лесам машинного зала, выходил к подъемникам третьей и четвертой шахт, где вместо пассажирской клетки были только бабьи для подъема выбранной породы. Его изредка окликали, спрашивали, что он здесь ищет. Стесняясь сказать про поиски выхода, Петя серьезно произносил «Вы не видели «ГАЗ-63», государственный номер МФ 62-33?» — «А-а, вон кого ты ловишь, он куда-то туда поехал, ты его пониже ищи!» И Петя снова метался в лабиринте переходов, штолен, окончательно запутавшись в пяти горизонтах машинного зала.

А от забоя, где произошла праздничная сбойка, до аэрационной «Б» мотался на своем «козлике» второй Петя, быть может, так же как и несчастный «инспектор», уже близкий к ужасу и отчаянию,

Свободу они получили одновременно.

Васильевский Петька прибег к универсальному способу преодоления печали, ему поднесли, и он, естественно, приложился, а поскольку ударивший ключ в этот день не пересыхал, то приложился по аппетиту. Через час его в невменяемом состоянии запихнули обратно в машину, на заднее сиденье, откатали машину к шахте и подняли. На знакомый, на родной шум мотора отозвалось чуткое ухо Пети, и он оказался у подъемника как раз вовремя.

Матушку он нашел в утепленной, обшитой белыми нестругаными досками просторной кабине «деррика», где в этот вечер на смене была Вера Маколкина.

Через отошедший ко сну поселок, загребая длинными ногами по снегу, Петя припустился домой, но все равно не поспевал за летевшей перед ним, как жаворонок перед орлом, матушкой, взявшей сына за руку и тащившей его за собой, прибегнув к способу, вот уже лет пятнадцать к взрослому, но так и не повзрослевшему сыну все-таки не применявшемуся.

С месяц эта история не сходилась в поселке с уст, пересказываясь с новыми подробностями и ответвлениями, потом перешла в легенды, и на приеме по случаю сдачи станции Правительственной комиссии была рассказана в подходящий момент самому председателю Иннокентию Ивановичу Кандалову, невольно попавшему в подземелье тоже вприсак. Он спустился в лифте в машинный зал, и первое, на что обратил внимание, были скромные двухрожковые бронзовые бра, установленные по всем четырем стенам. «И это — все освещение? Вот эти рожки?!» — со знанием дела указал на первый просчет председатель комиссии, строивший Волховскую ГЭС и восстанавливающий ДнепрогЭС после войны и отлично помнивший, что только в одной из восьми люстр актового зала нового здания Московского университета содержится сто пятьдесят ламп дневного света. Пришлось Николаю Ивановичу самым деликатным образом объяснять, что высокие шесть окон, расположенные по стене со стороны масляных регуляторов, — главное освещение зала. «Но это днем, а когда стемнеет?» — упорствовал представитель правительства. «Здесь всегда ночь, — сказал Николай Иванович, мягко добавив к сказанному имя-отчество. — Мы под землей, на отметке порядка семидесяти пяти метров». Ловко выругавшись, рассмеявшись и похвалив ровный и мягкий, как у заполярного солнца, свет, заливавший весь машинный зал с четырьмя пауками надежно работающих генераторов, председатель комиссии больше не прибегал к тону раздраженной строгости.

А Петя-инспектор вылетел из рассказанной на банкете Кандалову истории про спущенную в туннель машину с пьяным шофером; вылетел не только потому, что гость мог запутаться в двух Петрах, а потому, что к этому времени прошло уже с полгода, как Петю похоронили и забыли, как не оставившего по себе никакого интересного следа.

Но вообще-то ни одно общественное движение не оставалось без Петиного участия и внимания, он активно присутствовал на похоронах, всегда был в колоннах демонстрантов, хотя самые ответственные портреты и лозунги нести Пете шоферы не доверяли. Кстати, на демонстрацию он ходил «по гражданке», как говорят военные, то есть без портупей и кобуры. Регулярно Петя принимал участие в летних гуляньях на улице Чкалова, центральной в поселке, по наиболее фешенебельной ее части, от почты, дальше мимо чайной, «Когиза», к магазину, и так до больницы, поставленной фасадом поперек улицы в самом ее конце, на больничной горке. Когда горели сараи на 2-й Полярной, Петя был на пожаре одним из первых, ринулся в огонь и спас козу, но когда горел двадцатипятиметровой высоты деревянный копер на Пятой шахте, Петя был, как и все остальные, только зрителем; подъехать к шахте пожарные не смогли, и тушить чуть ли не стометровый факел было нечем.

Не осталось без Петиного внимания и даже некоторого участия движение огромной серой людской массы дважды в день, туда и обратно, шествовавшей мимо клуба в поселке Лесном.

Ни для кого не тайна, что строители по большей своей части обитают в жилищах временного типа, вроде барачков, и в лучшем даже и не нуждаются, поскольку, пожив пять—десять лет, все равно переезжают на новые необжитые земли, в новые палатки, в новые временки, в новые бараки. Иное дело жилище граждан, поселяющихся здесь же после ухода строителей, на постоянное жительство. Построили, к примеру, ГЭС, а рядом, глядишь, уже поднял свои 150-метровые трубы алюминиевый завод КАЗ или какой-нибудь лесопромышленный комплекс, с которым тысячи людей хотят связать свою жизнь навсегда. И чтобы ответить на эти законные требования жителей в описываемые времена, где-нибудь с краю от населенного пункта часть территории обносили колючей проволокой, строили необходимое число барачков, которые заселялись будущими строителями благоустроенного каменно-кирпичного жилья для тружеников завода или комбината. То ли к счастью, то ли к сожалению, но преступный мир поставлял в распоряжение народного хозяйства как раз столько

отпетых преступников, сколько требовалось для возведения каналов, заполярных железных дорог, комбинатов и прочих замечательных и необходимых сооружений как в центре столицы, так и по обширным окраинам нашей с вами Родины.

Все помнят, что в начале пятидесятых годов уже наметился отток рабсилы с Нивы-III, пик работ был пройден, станция пущена, начался завершающийся цикл отделочных работ и подготовки к сдаче Государственной приемной комиссии, и одновременно начался разворот нового строительства последней станции каскада, Нивы-I. Часть коллектива, не пожелавшая расставаться с Николаем Ивановичем и полярными надбавками, перебралась в Зашеек на Ниву-I, часть потянулась к теплу, на Камскую и Горьковскую ГЭС, часть перешла на работу в КАЗ, так что найти строителей для постоянного каменного поселка, а вернее, уже городка не представлялось никакой возможности. Вот тут-то и вырос волшебным образом небольшой лагерь, всего на четыре барака. Он приютился на скалистой плешине за поселком Лесным, с той его стороны, что обращена не в сторону поселка Нива-III, а в противоположную, в сторону Головного узла.

К зиме пятьдесят первого года, к декабрю месяцу, комиссия с оценкой «удовлетворительно» зону приняла, замечания по недостаточной освещенности двухрядного ограждения были немедленно устранены, дополнительно оградили тропу наряда легкой проволокой, завезли даже на первое время дрова, и лагерь принял заключенный контингент, что-то порядка тысячи душ.

Жители поселка радовались, когда незадолго до заполнения лагерька по Кандалакшскому шоссе, по Кировской аллее, 1-й и 2-й Полярной не только поправили освещение на столбах, но и ввернули какие-то замечательно светлые лампы. В поселке стало по-праздничному светло, в непроглядной заполярной темноте и такому-то свету рады. И почти никому не пришло в голову, что делалось все только для обеспечения режима, поскольку и на работу и с работы эта публика шла уже в полной темноте.

Таким образом, каждый день, кроме выходных, праздничных и активированных по морозу и туману дней, мимо клубного барака в Лесном, помещения, прямо скажем, скверного и неприличного, где уборщицей с комендантскими правами или комендантшей с обязанностями уборщицы жила и работала крохотная матушка непомерно длинного Пети, в начале девятого утра и после шести вечера, скрипя снегом, чавкая грязью, взбивая негустую пыль на каменистой дороге, шествовала колонна по шесть человек в ряд, в сопровождении человек пятнадцати, не больше, охранников, если не считать двух овчарок на длинных поводках.

Несколько раз по утрам Петя выходил на крыльцо клуба, торцом стоявшее по направлению к шоссе, и наблюдал это стройное и отчасти воинственное шествие. Приметливый начальник конвоя капитан Капустин (Яркин), замыкавший шествие, шагал пружинистой независимой походкой скорого на ногу человека, за спиной, стволом вниз, висел неизменный легонький, как большая игрушка, автомат «ППС».

Прежде чем принять решение, Петя долго думал и наконец понял, чего от него ждут.

Однажды утром, при блеске всех звезд на небе и белом свете измерзшейся до синевы полной луны, конвойные и заключенные увидели на валуне за обочиной длинную фигуру в кубанке. Конвойные заволновались, а заключенные жалели, что не могли рассмотреть лица стоявшего в рост человека, потому что свет от луны падал почти отвесно. Когда колонна поравнялась с Петей, он вскинул руку и приложил ладонь к кубанке в воинском приветствии. Капустин (Яркин) непроизвольно передвинул автомат из-за спины под мышку, готовый к любой неожиданности: для того чтобы дать очередь в воздух и скомандовать: «Ложись, б...и!», — ему не требовалось предварительных размышлений. Такое обращение к своим подопечным он предпочитал вовсе не потому, что русский язык не предоставляет на этот случай достаточно широкого выбора; здесь обнаруживала себя прежде всего преданность руководству, преемственность традиций и много разных замечательных штрихов, рекомендующих Капустина (Яркина) в самом лучшем смысле. Старшие товарищи, помнившие Беломорстрой, не раз рассказывали о самой короткой речи легендарного Фирина Семена Григорьевича на Сорожском участке, заповорившем план: «Русский мужик, пока гром не грянет, не перекрестится. Так гром гремит! Креститесь, б...и!» И сорожцы план дали.

Рассказ произвел в свое время на Капустина (Яркина) большое впечатление, и он включил опыт старших товарищей в свой боевой арсенал.

Беспокойство Капустина (Яркина) было напрасным: несмотря на некоторое возбуждение, в колонне никто не дал повода уложить всех на снег, видно, зэки были опытные и никому не хотелось лежать брюхом на дороге, уткнувшись мордой в ботинки впереди лежащего гражданина.

Когда колонна прошла, Капустин (Яркин) легко перепрыгнул в своих бурках за обочину и подлетел к Пете:

— Давай отсюда к ... матери! Сейчас собак спущу!

Капустин (Яркин) говорил очень выразительно, примешивая к произносимым словам еще какие-то звуки, не принадлежащие ни одному из известных в мире языков, и примесь этих звуков как раз и позволяла даже знакомым словам приобретать какое-то леденящее душу свойство.

Петя стоял с туманным взором, видя себя, эту дорогу, и звезды, и луну, и приседающих на задние лапы, всегда готовых к прыжку овчарок как бы со стороны, как бы не принадлежащими в полной мере этому миру. Он нимало не удивился, увидев перед собой Капустина (Яркина) и услышав его злобный голос. Он спустился со скользкого валуна на заднице, поправил пустую кобуру и неожиданно твердым голосом отчеканил:

— Несите службу! — приложил руку к кубанке, повернулся через левое плечо и зашагал к клубу, где на крыльце, сунув голые ноги в валенки и накинув на плечи то ли половик, то ли пальто, его поджидала мать.

Что можно сказать о толпе в восемьсот душ, проплывшей перед нашим взглядом в голубоватом отсвете луны по ярко освещенному шоссе?

Не так уж много.

Разнообразия в этой публике было чрезвычайно мало. Быть может, самой характерной и отличительной чертой была и вовсе не заметная издали манера шнуровать свои тяжелые, но все-таки холодные рабочие ботинки. Шнурки были величайшим дефицитом на зоне, их можно было увидеть только у самых сильных, самых мужественных обитателей лагеря, готовых пойти на все, чтобы отстоять свое место в жизни; хорошие бечевки тоже можно считать приметой стойкости и большого запаса прочности в борьбе за выживание, вот бинты и куски простроченных краев от старых простыней, обращенные в шнурки, скорее свидетельствовали о некоторой пронырливости, хозяйственной ловкости, но не больше; проволока вместо шнурков, прямо скажу, была худым знаком, от проволоки был уже один шаг до ботинка вовсе без шнурков, а были и такие.

Или взять головные уборы, все они матерчатые, легкие, от мороза прикрывающие слабо, но и здесь можно было увидеть характер и меру стойкости заключенного человека.

Те, для кого взгляд со стороны, из свободного мира еще кое-что значил, рисковали дойти от лагеря до своего строительного загона в шапке с поднятыми ушами, рискуя обморозить собственные уши. Решение надо было принять еще на построении в зоне, потому что во время перехода уже никто тебе не позволит разнять руки за спиной, что-то там перевязывать или что-то там тереть. Те же, кто уже махнул рукой на то, как они выглядят со стороны, сразу же завязывали тряпичные уши шапочек под подбородком, что делало всех похожими на больных детей, заботливо снаряженных к выходу на холод, или на людей, страдающих зубами. Носить на шапке уши вниз, не подвязывая, Капустин (Яркин) не позволял, он получил однажды за это замечание от Богуславского, кстати, не очень верно понятое, и строго преследовал нарушение предписанной высшим начальством формы.

Но, справедливости ради, надо замечать не только то, что людей разъединяет, отличает, делает непохожими друг на друга, но и то, что роднит.

Например, не было в эту минуту среди сотен участников этого зимнего парада ни одного, кто бы заметил, что все действующие лица, кроме пяти вертухаев, чьи лица не больно-то и были видны из поднятых воротников тулупов, в которых им предстояло по очереди потом весь день стоять на дощатых сторожевых вышках, своим рисунком чем-то отдаленно напоминающих некоторые, не самые знаменитые башенки Кремля, так вот, кроме этих вертухаев, все остальные действующие лица были облачены исключительно в ватники. Длинный худой человек с вытянутым лицом стоял на скользком валуне в ватнике, подлетевший к нему начальник конвоя для быстроты передвижения и легкости маневра тоже был одет в ватник, хотя и новый, хотя и зеленый и с отложным воротником, ну и колонна осужденных вся без исключения вжималась в куцые ватные пиджаки без воротников, закутав для утепления, впрочем, очень сомнительного, свои изъеденные чирьями шеи окаменевшими на морозе вафельными полотенцами не первой свежести, не успевавшими, кстати сказать, как следует продохнуть после утреннего умывания.

Как, по чьей причуде эта фатальная одежда досталась разом всем участникам незабываемой встречи?

Предъявленное наблюдение о единстве облачения может подвинуть читателя Петинной истории, кажущейся поначалу бессмысленной и безумной, к предположению: уж не аллегория ли здесь развернута с каким-то большим и тайным смыслом? К сожалению, нет в этом бесхитростном рассказе ни поэтических аллегорий, ни тайного смысла, одна только истина, а может быть, лишь ее

фрагменты, уцелевшие на жерновах истории, под бременем повседневной жизни лишь частично, как и следы многих земных цивилизаций, сгинувших в бездне лет безвозвратно.

Ночь на шестое марта 1953 года Петя провел тревожно, почти не спал, не спала и его матушка, тайком шепча молитвы о даровании здоровья, перемежаемые плачем. Когда утром было объявлено, что все кончилось, Петя заплакал сильно, а матушка, доплакавшись до дурноты, издала стон, более похожий на визг, упала лицом в подушку и мгновенно уснула.

Петя еще накануне в гараже исподволь интересовался, будут ли вывешивать траурные флаги, если врачам не удастся спасти; в гараже народ от ответа уклонялся, а в милиции, куда потом зашел Петя, всегда готовый к любой беседе Многолесов твердо сказал, что не только в траур «оденется страна», но и заводы остановим, и транспорт, поэтому Петя сразу же отправился в клубную кладовку, где лежали флаги и праздничный инвентарь. Он нашел коробочку с траурными лентами, хранившимися от дней памяти Ленина и отвязанных буквально накануне Дня Красной Армии и Военно-Морского Флота. Петя подвязал двадцать семь черных бантиков, но вывесить флаг даже у входа в клуб не решился, вспомнились ему вчерашние слова старшего лейтенанта Многолесова: «А если что такое случится, то дисциплина в стране будет строжайшая...»

Петя вышел на крыльцо клуба и осмотрел небо.

Солнце в тихом великолепии вот уже второй месяц после зимней отсидки за горизонтом светило жителям полярных стран с нарастающей щедростью, с каждым днем все увеличивая и увеличивая продолжительность своих небесных прогулок.

Если не считать солнца, стоявшего невысоко прямо над Бабьим Пупом, то все небо, без единого облачка казалось безнадежно опустевшим, что в полной мере отвечало чувству безмерной утраты. Высоко-высоко, выше солнца он увидел реактивный истребитель, тянувший белую кудель, должно быть, от самой Африканды, и подумал, что лететь теперь нет никакого смысла, как нет смысла больше и в снеге, и в домах вокруг, и в одиноком, не умеющем никого согреть солнце.

Особенно белый росчерк в небе показался Пете совершенно неуместным и бессмысленным.

Сверху, со стороны КАЗа, но только справа, оттуда, где дорога заворачивала к Головному узлу, показалась черная лента, неторопливо выползавшая и занимавшая всю ширину шоссе. Дорога шла под уклон, и Петя, не раз наблюдавший это медленное тягучее движение черной колонны, всякий раз ждал, что на склоне она непременно соскользнет вниз, скатится или хотя бы немножко ускорит движение, чтобы легче было выскользнуть на встречный подъем, заканчивавшийся неподалеку от клуба. Но черная длинная гусеница одинаково текуче двигалась и под гору и в гору, и, казалось, окажись на ее пути отвесная стена, она так же неторопливо и вязко взберется на нее и, перешагнув край, так же медленно, шагом, сойдет по отвесной стене вниз.

Сегодня это тягостное движение черной ленты по припорошенному ночным снежком белому шоссе как нельзя больше соответствовало безмерной печали, охватившей притихшую землю. Пете стало их жалко, не имеющих возможности даже сегодня, хотя бы в такой день остаться в зоне и выплакаться всласть.

Он пошел к себе в конуру рядом с заколоченной кассой, тихонько, чтобы не разбудить мать, надел португеею с кобурой, фуражку и вышел. На улице, проваливаясь сквозь плотный мартовский наст и зачерпывая валенками сыпучий, как песок, рыхлый снег под настом, он добрался до того самого валуна, с которого его прошлой зимой согнал Капустин (Яркин), и снова залез на него.

Теперь его было видно всем, солнце светило ему в лицо, он стоял на камне, строгий и печальный, готовый приветствовать осиротевших соотечественников военным жестом.

Впереди колонны медленно и не в ногу шли два бойца в толстых шинелях, винтовки они держали штыками вниз, неся их как миноискатели. Они коротко взглянули на Петю и улыбнулись. Петя понял этот привет как сочувствие и одобрение, но то, что он увидел дальше, не укладывалось в его ясном мозгу, открытом простым истинам, он видел сотни лиц, повернутых к нему: ни тени скорби, ни знака печали, ни заплаканных глаз... Если раньше они напоминали стадо мертвецов, которых зачем-то подняли и перегоняли из одной братской могилы в другую, то теперь Петя видел совершенно отчетливо — перед ним шли живые люди,плыли лица. Из грязной скорлупы ушанок и вафельных коконов полотенец на шее на него смотрели веселые, нестарые лица, даже струпья обмороженной кожи на скулах, черные круги вокруг глаз, пунцовые волдыри волчанки — все было отмытым и нестрашным. Восемьсот пар счастливых глаз, именно счастливых, смотрели на него, а некоторые даже подмигивали, давая намек на какое-то тайное взаимопонимание, которое не может быть пока еще высказано.

Ужас охватил Петю, он понял с ясностью необыкновенной, почему этих людей собрали в лагерь, зачем они устранены из жизни и помещены под конвой, зачем нужна охрана и собаки.

Капустин (Яркин), как всегда замыкавший колонну, только бросил короткий взгляд в сторону Пети, не подав никакого намека на давнее знакомство. Маленький, черного металла автомат со сложенным откидным прикладом, висевший на правом плече Капустина (Яркина), показался Пете средством совершенно недостаточным, чтобы держать в повиновении этих притаившихся, только похожих на людей негодяев, готовых улыбаться и веселиться в такой день и в такой час. Провожая взглядом Капустина (Яркина), Петя порадовался, что, кроме автомата, у того есть еще и наган на поясе, плотно перехватившем коротенький зеленый ватник.

Наган, пристроенный в тылу у Капустина (Яркина), в потертой милицейской кобуре с округло обрезанной крышкой и латунным шомполом с кольцом, сочувственно провожаемый Петиним взглядом, в скором времени Петя увидел в действии, и в смысле рукоятки, которую Капустин (Яркин) вбивал между лопаток зэку, и в смысле огнестрельном, потому что вбивание рукоятки между лопаток, хотя и со всей силы, показалось Капустину (Яркину) мерой недостаточной, даже не до конца понятной человеку, на которого была обращена, и он прибежал к выстрелам. Петя первый раз в жизни, как и некоторые взрослые, не говоря о детях, сбежавшихся на происшествие, первый раз в жизни видел, как стреляют в живого человека. Было страшно, но интересно.

А история, в сущности, произошла совершенно простая, даже и чепуховая, но, знаете, это всегда чужие заботы кажутся чем-то не очень трудным и сложным.

26 марта, в четверг, Петя шел по Кировской аллее, застроенной двухэтажными итээрзовскими домами только с левой стороны, со стороны края поселка, а правая сторона, если идти от Кандалакшского шоссе в сторону управления строительством, была почти не застроена. Всего три таких же восьмиквартирных дома стояло с правой стороны аллеи, но нештукатуренные, в отличие от домов слева, и почему-то повернуты они были торцом к улице, а не развернуты фасадом, как дома на противоположной стороне. Зато между этими поперек стоящими домами сохранились фундаменты, заложенные в горячие предвоенные годы, но так до начала пятидесятых годов и не проросшие ничем, кроме худосочного березняка и небогатых ольховых кустов; правда, всякий раз к осени и внутри фундаментов и по краям хорошо расцветал нежно-розовый иван-чай. Небольшая польза от этих фундаментов все-таки была: школьная молодежь от первого класса так до шестого, насмотревшись фильмов про дикарей, вооружившись шестами, прыгала с одной каменной тумбы на другую, носилась как оглашенная друг за другом, издавая пронзительные крики, тоже заимствованные из трофейных кинофильмов. Когда некоторые взрослые старухи, не понимавшие пользы для детского здоровья от подвижных игр на свежем воздухе, спрашивали у молодежи, что они делают, те отвечали: «Гарзаним!» — и считали объяснение достаточным. О детях школьного возраста приходилось напоминать потому, что они тоже были свидетелями того, как ловили двух дернувших в побег и как выведенный из себя Капустин (Яркин) был вынужден применить оружие.

Если вернуться к фундаментам, то надо сказать, что вскоре после того, как за поселком Лесным образовался лагерь, тот фундамент, что был ближе к улице Чкалова, обнесли столбами, между столбами натянули что-то линий в пять-шесть новенькую колючую проволоку, которую — частично — проворные поселковые владельцы огородов ухитрились воровать для защиты своих угодий от бродивших безнадзорно коз; по краям поставили четыре деревянные вышки из белых сосновых досок, вышки были с красивыми шатровыми крышами.

Надо честно сказать: колючую проволоку с остававшейся на ночь безнадзорной стройзоны подворовывали, но порывов к побегу за полтора года замечено не было, а тут после трагической смерти, оплаканной всем народом, когда всю заговорили о возможной амнистии, на побег мог решиться только совершеннейший дураком. Но предположить, что в заключении находились только люди дальновидные, умеющие принимать взвешенные, продуманные решения, было бы совершенно неосновательно. Разный народ был в ту пору в лагерях, разный, и можно только удивляться, как в последующие времена стало получаться, что сидел в лагерях цвет России. Взять хотя бы того, в которого вскоре будет стрелять Капустин (Яркин), и вообще — сопляк, лет по виду не больше семнадцати, а уж как подорвал и как начал тыриться, стыдно сказать. А тот, что рванул за речку, за Ниву, в сторону взрывскладов, тоже вам скажу, ума палата! И это — лучшие люди. России! Не смешите. Вспомните хотя бы знаменитый каргопольский подрыв, когда сразу сто семьдесят шесть человек ушло. Так это ж люди! На Пин-озере шесть человек ушло, одного в Котласе взяли, второго в Обозерской, третий по пьянке засыпался, а трое — с концами. Люди!

Думаю, что это совершенно необходимо сказать, потому что по привычке к чтению произведений социалистического реализма читатель может за каждым конкретным случаем вычитать обобщение и картину в целом; так вот, по этим двум фраерам, о которых речь впереди, не надо судить обо всех, кто пришел к весне пятьдесят третьего года, скажем образно, под конвоем.

Петя совершенно не случайно шел 26 марта по Кировской аллее, хотя и жил он на противоположной стороне поселка, но любил бывать на этой крайней со стороны Кандалакши улице, потому что здесь можно было встретить Валентину Репишеву из Ручьев, которой он совершенно откровенно и бескорыстно покровительствовал, или Ирину Константиновну, от одного вида которой в Пете кровь замирала и начиналось сердцебиение.

На Пин-озере был лагерь посерьезней, чем в Лесном, и хозяином ему тоже был Богуславский, только условия там были не сравнить с нивскими, и держать там Ирину Константиновну было бы просто бесчеловечно.

Петя, привыкший видеть на вышках топчущихся в тулупах часовых, неторопливых, с красивыми бараньими воротниками, стеной ограждающими лицо от порывов полярного ветра, был немало поражен, когда, поравнявшись с вышкой, стоявшей на углу со стороны Кандалакшского шоссе, увидел что-то непонятное. Сначала ему показалось, что часовой, прыгая, хочет затоптать окурки. Петя не понял, почему окурки надо бросать на дощатый пол, а не скинуть с вышки в снег, и только когда солдат освободился от тулупа и остался на вышке в одной шинели, Петя стал понимать, в чем дело; окончательно все разъяснилось, когда он увидел бегущего от проволоки в сторону двухэтажного дома одного человека в сапогах и матерчатой ушанке, а второго — пролезающим в изрядный проем в колючей проволоке. Часовому на вышке не составило бы большого труда пристрелить хотя бы вот этого, второго, до него было, что называется, рукой подать, метров двадцать пять, так, оказывается, винтовка с длинным штыком зацепилась за крышу изнутри вышки, и никак ее было не выдернуть и не развернуть в нужную сторону. Все дело в том, что боец на вышке сильно разнервничался из-за тулупа, потерял драгоценные секунды, а может быть, и доли минут, и вот теперь никак не мог справиться с винтовкой. Слава богу, догадался не стрелять в этого второго, который уже выскочил за проволоку и рвал по следам первого, а просто выстрелить туда, куда зацепившийся ствол был направлен, то есть вверх, в крышу. Пете показалось, что выстрел прозвучал не очень громко. Наконец этот пентюх на вышке выпростал винтовку как положено, только стрелять уже было как бы не в кого. Хитрые мужики в стройзоне нарочно все попрятались, кто в подсобках, кто за стенами уже выведенного в кирпиче первого этажа, кто в подвале, только ни одной души Петя не увидел и с тревогой подумал, может быть, эти двое — последние, остальные уже все как-то потихой смылись.

Запускали в зону с Чкаловской, там была и комендантская времянка, и караулка, и все как полагается, отсюда и прибежал Капустин (Яркин), уже держа в руках наган. Еще не добежав до вышки, подавшей сигнал тревоги, он по-матерному спросил часового, что произошло, и часовой с вышки такими же приятельскими словами, вкладывая в них гнев, и тревогу, и готовность защищать зону до последнего патрона, объяснил, что подорвали двое, наврав при этом, что стрелял по беглецам непосредственно. Поскольку этот страстный диалог, не представляющий особенной государственной тайны, все-таки в печать не может быть пропущен, незачем его и повторять. Можно частично воспроизвести лишь конец разговора, где Капустин (Яркин) дал указание своему бойцу на дальнейшие действия: «И если хоть одна ... высунется к ... никаких предупредительных к ... понял, Фролов?!» Петя про себя отметил, что фамилия «Фролов» хорошая и боец с такой фамилией должен быть хорошим бойцом.

От штукатуреного дома, стоявшего торцом к Кировской аллее, прямо к Капустину (Яркину) бежали три мальчика и одна девочка; задыхаясь и размахивая руками, они кричали:

— Он там! Там! Он туда побежал!

Капустин бросил взгляд на дом, взял почему-то наган под мышку, достал из кармана ватника «Беломор» и закурил. После двух коротких затяжек он наконец заметил детей:

— Где второй?

Голос Капустина (Яркина) звучал по-командирски. Дети виновато понурились, стали о чем-то спорить между собой и, сообразив, что до настоящих героев им еще далеко, стали вспоминать: «Ты сказала...» — «Я сказал...» — «А что я тебе говорил!..» — и все в таком духе, но вполголоса, чтобы не мешать Капустину (Яркину) курить и думать.

От штукатуреного дома с противоположной стороны Кировской аллеи к месту происшествия бежал в кителе без пояса, в пыжиковой шапке, в галифе и в тапочках без задников сам полковник Богуславский, в руках у него был плоский «ТТ».

— Что стоишь?! Что стоишь ...?!

Богуславский нашел удивительное матерное выражение для Капустина (Яркина), человека небольшого роста; хотя и сам Богуславский, видит бог, был самое лучшее среднего росточка. Для

убедительности и в подтверждение своих решительных намерений Богуславский дважды выстрелил в небо.

Петя оценил выстрелы из «ТТ» значительно выше винтовочных, может быть, оттого, что они грохнули почти над ухом.

Едва прозвучали первые выстрелы, еще те, с вышки, как к месту происшествия стеклись неизбежные лица, образовавшие не то чтобы толпу, а немногочисленную кучку зрителей — из десятка мальчишек, двух девочек и трех убого одетых женщин без возраста, с тусклыми лицами и какими-то сонными, остановившимися глазами, будто их разбудили и насильно поставили здесь смотреть, что будет. Выстрелы Богуславского пробудили в сонных женщинах страх и возрастающую готовность досмотреть все до конца, сколь бы ужасно ни было предстоящее зрелище. Несмотря на то что публики было все-таки мало, а места очень много, дети умудрялись толкаться и даже ссориться между собой, а взрослые, прося вести себя потише, внушая уважение к серьезности происходящего, поняли, наконец, свою роль и обязательность своего присутствия.

Петя всей душой стремился к центру событий, он менял позицию, чтобы видеть лицо начальника конвоя и по его выражению понять ход мыслей и предстоящих дел; волоча по снегу длинные ноги, он сделал несколько кругов вокруг Богуславского, едва не наскочив на мальчиков, ссорившихся из-за горячих гильз, вылетевших из пистолета полковника. Если Капустин (Яркин) и Богуславский, отдадим им должное, были главными действующими лицами на утрамбованной снегом сцене, то Петя, с его сосредоточенным интересом буквально ко всем и ко всему, напоминал режиссера, который во время репетиции бесцеремонно влезает на сцену, ходит среди актеров, продолжающих играть свои роли, и следит за правильностью исполнения одному ему ведомого замысла, но сам никакой роли не играет.

Разум Пети был развит ровно настолько, чтобы принимать окружающую его жизнь за единственно возможную.

Три класса начальной школы в Усмынке, согласитесь, образование скромное, таким образом, можно смело сказать, что отсутствие сколько-нибудь глубокой образованности, да и отсутствие способной к полету фантазии, позволяющей и без образования вообразить жизнь более-менее порядочную, делали Петю неотличимо похожим на самих устроителей окружающей его жизни и на многих прославленных ее певцов, также не допускавших мысли об ином мироустройстве.

Сбежавшиеся мальчишки, кто с санками, сооруженными из гнутых труб, кто с пустой кошелкой, отложив поход в магазин, кто на лыжах, обрезанных по моде этого сезона чуть ли не до размера коньков, кое-кто даже полуодетый, на манер Богуславского, собрались смотреть, что будут делать взрослые, вышедшие на улицу с готовым к действию оружием. На разные голоса, на разные интонации, со страхом, с восторгом, с надеждой, с ужасом произносилось слово «побег».

Для каждого из нас есть вещи, недоступные пониманию: для одних Бог, для других — безбожие, а Пете не дано было понять, что такое побег, впрочем, не одному Пете.

Побег относится к тем несчастным проблемам, по отношению к которым даже серьезным исследователям редко удавалось сохранить объективность и не впасть в крайности, подобно профанам и непосвященным.

Побегами зовут молодые ростки, подтверждение жизни...

Побег — это как второе рождение и даже лучше.

При первом своем рождении мы мало что соображаем, чувства есть, но нет памяти, а стало быть, нет начисто и понимания того, что с нами происходит. Первое наше рождение, оно как бы вынужденное, и от нас мало что зависит. А побег? Если загодя вы не затягивали, не закручивали в себе пружину, которая должна в нужный день и нужный час кинуть вас на запретку, а потом и дальше, за барказ, если нет у вас на это доброй воли, как не было ее у того сопляка, что выскочил сегодня вторым за проволоку, так лучше тихо сидеть от звонка до звонка.

Побег — это не жизнь, а эликсир жизни.

Рваните за проволоку, хоть на минуту, хоть на десять минут, и всем своим существом, а не только умом и глазами, вы поймете, что все, все, что видели раньше, когда вас водили по этим же самым улицам, среди этих же самых домов, было сплошным обманом воображения. И прольется свет, даже если вы подорвали ночью, мир откроет перед вами свое лицо, упадет завеса слепого безразличия, вот уже который год отделяющая вас от всего, что расположено по ту сторону. Все необъятное пространство земли, еще минуту назад не рассчитанное на ваше присутствие, становится миг, в этот священный первый миг свободы твоим, с тобой, и для тебя, ради одного только этого мига, быть может, и стоит рискнуть. И в час, в эти священные минуты, когда не на кого положиться,

не от кого ожидать помощи, вы увидите, как присутствие духа и решительность возрастают по мере увеличения опасности.

Болезненный задор, рожденный мыслью о побеге и не оставляющий ни на минуту, даже во сне, доводит душу до отчаяния, изболевшееся ваше нутро уже не спрашивает, можете вы бежать или нет, разумно это или нет, хватит ли сил, наглости, везения; мозг оглушен всеми звуками, несущимися оттуда, где вас все еще нет, и глохнут все сомнения, а разум признает только те расчеты, что в пользу побега.

Я так скажу, побег — это болезнь, болезнь души, это жизнь в вас, несогласная с предписанным ей медленным умиранием, требует свое, и единственное исцеление от этой болезни — бежать.

В побег идут люди разные, поэтому разные у них не только походки, но и разные чувства, надежды, страсти и все остальное.

Тот, молоденький, что выскочил вторым, бежал по обязанности, из страха, а не для свободы, поэтому и рассчитывал свой побег до ближайших домов. Рассказывать про него нечего. Неинтересно. Короче, так, гражданин Дмитрий Филиппович С-кий, восемнадцатого года рождения, имевший четыре судимости и отбывавший в текущем году наказание по четырем статьям, играя на «три косточки», как говорится: «меж двух остался наголо», — проиграл этого паренька в карты, проиграл на побег; если паренек не побежит, то Дмитрий Филиппович, как проигравший его, обязан будет его же и замочить, то есть зарезать ножом. Узнав об этом, Алексей Николаевич Бр-н, по кличке Бобрик, 1921 года рождения, с тремя судимостями и двумя побегами, предложил тому пареньку бежать на пару, также пообещав его замочить, если только он кому-нибудь пикнет. Алексей Николаевич рассудил трезво: если бакланчик запутается, отстанет, даже если его подстрелят, то все равно — в масть, хоть на какое-то время, но преследование он на себя оттянет. Если же повезет, уйдут оба, то потом будет несравненно легче вдвоем, взять тот же сон, держать ким можно по очереди. Факт важный.

Побег для гражданина Бр-на был не то же самое, что для паренька, вывернувшего где-нибудь у себя в правлении колхоза две лампочки и пойманного с поличным каким-нибудь принципиальным парторгом МТС.

Ни чифирь, ни водка, ни игра в карты, ни игра с девочкой, ни игра с ножом не позволяли испытать Алексею Николаевичу Бр-ну таких острых и мгновенных чувств новизны жизни, обрушивающейся на человека разом, как вал морского прибоя на испекшегося в пустыне, умирающего в песках от жажды человека. Побег, как вышеназванный морокой вал, освежит, сообщит новизну всем чувствам и обновление телу, только горько-соленая влага никогда не сможет утолить сжигающую душу жажду.

Уверяю, такой впечатлительности, что откроется в вас в эти первые невероятные мгновения свободы, вы в себе даже не подозревали. И как бы долго и сладострастно вы ни думали о свободе, в первый миг вы поймете и почувствуете, как смутно и туманно рисовало ваше воображение заветную цель. И действительно, одно дело мечтать о девушке, вертя на шконке невестку, подушку тонкую, как носовой платок, — или держать живую девушку в своих руках, покорную всем вашим желаниям.

Неволя мучительна и трагична, свобода тоже не сахар, но побег — это творчество.

Побег, как творчество, требует отчаянной самоуверенности.

И если согласиться с тем, что искусство не изображение, а преобразование жизни, то побег, безусловно, произведение искусства: он преобразует неволю в свободу, преобразует и самого автора-исполнителя, и весь мир вокруг него.

Вы обратили внимание, заключенный контингент «горизонтом» называет верхнюю филенку в камере, потолок «небом», а лампочку «солнышком», это очень характерная подробность, подчеркивающая, что реальные горизонт и небо как бы не принадлежат им, находятся в совершенно другом мире; точно так же как и реальное солнце, судя по тому, что на зоне его зовут «блатной шарик», тоже светит только вольняшкам, только избранным счастливым. Все, решительно все, выглядит из рядов марширующей колонны не так, как в действительности. Вот пример. Заметив на бегу какую-нибудь совершенно бесполезную вещь, многожды в этот день виденную, ну ту же изморозь на проводах, вы непременно ей изумитесь как открытию.

Что пожелать бегущему?

Больше гибкости, больше чуткой восприимчивости к непредвиденному и неожиданному!

Этот лозунг вроде бы можно было адресовать и прозябающим в неволе, только, следуя ему, пришибленный человек и вовсе превратится в червя.

Если вас еще не довели до забвения самого себя и вы хотите и способны испытать упоение жизни — идите в побег! И не обязательно для этого змейкой перепиливать решетку, толкать

купленного конвоира руками в кювет или подныривать под колючую проволоку, дождавшись хорошей пурги. Воля есть воля, и если уж Пушкин на склоне своей короткой жизни думал о побеге, если писатель Лев Толстой даже в преклонных годах, при не очень крепком здоровье все-таки в побег ушел, значит, воля чего-то стоит.

И говорится это все с единственным прицелом, на случай, если вам когда-нибудь придется целиться в бегущего человека; прежде чем нажать на спусковой крючок, подумайте о том, что бежать ему все равно некуда, любая жизнь, как ни крути, оборачивается неволей.

Бобрик уходил грамотно, то есть немного бегом, а потом переходил на быстрый шаг, во-первых, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания маячивших на улице теток и поселковых собак, но главным образом экономя силы. Это новичок ломит первые десять минут на радостях, что ушел без раны, а потом хватает воздух, как карась, и удивляется, что легкие забиты ватой, а ноги с непривычки деревенеют.

— Шас возьмем, — коротко сказал Капустин (Яркин), как бы не чувствуя в эту минуту старшинства полковника в тапочках.

Со стороны караулки уже бежали два бойца с винтовками с примкнутыми штыками.

— Сколько ушло? — с глухой угрозой спросил Богуславский.

Имея такую молодую и такую красивую жену, как Ирина Константиновна, Богуславский чувствовал на себе обязанность быть *bon vivant*: следуя привычкам человека, всесторонне озабоченного счастливым устройством жизни, он держал парикмахера, которого привозили ему на квартиру; собирались гости на именины или Октябрьские, привозили и поваров, мобилизованных среди отбывающих отсидку проворовавшихся кухмистеров: в шести лагерях, над которыми простер свою опеку Богуславский, собрались яркие представители молдавской, московской, кавказской и украинской кухни.

Челядь, вовлеченная Богуславским в его частную жизнь, удивляла его своей наивностью и простодушием. Награждая, например, парикмахера початой пачкой «Беломора», даже понимая, что в зоне она ценится ровно в сто раз дороже, чем в магазине, он считал совершенно не нужными слова восторженной благодарности. Впрочем, не обременявший себя излишними знаниями о жизни подопечных, полковник мог только догадываться, какие выгоды имели приглашенные к нему на стирку, уборку квартиры и другие службы лагерные умельцы благодаря хотя бы краткому, но льготному передвижению через поселок. Но знай, какие блага не в шутку сулили парикмахеру, если он полоснет своего клиента по горлу бритвой, то, быть может, он предпочел бы бриться сам.

Если оперативная обстановка позволяла, Богуславский всегда обедал дома, заезжая в поликлинику за Ириной Константиновной или просто посылая за ней шофера, благо до больничного городка от дома было метров восемьсот пешком, если срезать угол у родильного отделения. Домой влекли Богуславского не только обеды, но и общество Ирины Константиновны, и возможность в спокойной обстановке отдохнуть после обеда.

Вот, как раз в конце обеда, как говорят французы, *entre le poire et la fromage*, то есть между грушей и сыром, полковник услышал глухие винтовочные выстрелы — один, второй, — после чего и решил выскочить на улицу, хотя бы для того, чтобы на глазах Ирины Константиновны, деликатно второй год не замечающей, как на его широкой жирной груди образовались еще вдобавок маленькие сиськи, решительно выхватить всегда лежавший под матрасом пистолет, перевернуть затворную накладку, обнажив на мгновение спрятанный в недра пистолета ствол и бросив, даже чуть резко: «Закройся и сиди!» — кинуться на ее защиту, хотя бы и в тапочках. Умение видеть себя со стороны подсказало ему правильное решение, нельзя было терять время на возню с сапогами, поступок терял эффект стремительности и молодцеватости, столь драгоценной в стареющих мужьях; хромовые голенища на повседневных сапогах, как и на парадно-выходных, полулаковых, были специально заужены и натягивались на полноватые икры с большим усилием. Явившись в тапочках на улицу и несколько потеряв в глазах толпы, он, безусловно, выиграл в глазах Ирины Константиновны.

На вопрос: «Сколько ушло?» — Капустин (Яркин) бросил коротко: «Двое», — не считая нужным ни оправдываться, ни трепетать перед начальником. От начальника конвоя нужна служба, а не обхождение. Это у тех, кто по линии снабжения, вот там почтение, уважение к начальству на первом месте, а конвойный повязал беглецов — молодец! а ушли — так мало, что битой мордой отделаешься, если не хуже, и никакая козыряловка тебя не спасет.

— Где второй? — рывкнул Богуславский.

— И второго возьмем, — сказал Капустин (Яркин) так, будто первый был уже заарканен и лежал у его ног.

Вольность такого разговора, на первый взгляд даже предосудительная, в известных коллизиях наблюдается едва ли не повсеместно

Капустин (Яркин) отлично сознавал, что звание начальника конвоя не освобождает его от чинопослушания, но вместе с тем позволяет некоторые хитрости в отношении к страдающим заносчивостью и склонным к помыкательству старшим чинам. Полковник же Богуславский, безусловно, и достойнейший своего места и звания, и отягощенный многими успехами по службе, был совершеннейшим школьником в таком деле, как организация погони, преследование и поимка беглецов. Да и сам Богуславский, в свою очередь, сознавал, что один листок лавра, столь проворно ухваченный Капустиным (Яркиным), еще не составил венка, и непременно будет нужен второй, и он верил в своего соратника, имея немало доказательств и примеров, как ради дела тот был всегда готов пойти на любой незаконный подвиг

В конечном счете преимущество Капустина (Яркина) состояло лишь в понимании того, что тот беспорядок, в котором происходит погоня, и есть порядок, необходимый для данного действия, в то время как начальству, насаждающему всюду устав, правила и закон, никак невозможно довериться стихии, то есть отнестись к поимке сбежавшего как к искусству. Замечено, что преувеличивающие организационный момент в этом требующем интуиции, азарта и опыта деле как раз и не преуспевают.

— Сколько тебе нужно людей? — Богуславский переменял тон, постепенно остывая в незастегнутом кителе

— Посмотрим, куда пошел, — деловито сказал Капустин (Яркин), бросил окурочек и, крикнув подбегавшим бойцам: — За мной! — легко побежал к дому, где, согласно детской наводке, укрылся один из беглецов.

Дальнейшие обстоятельства происходили так.

Дом, где спрятался сбежавший заключенный, был развернут торцом к дороге; устроенный на неровном месте, он имел дальнее крыльцо с деревянным навесом в семнадцать ступенек, а ближнее — только в шесть.

Капустин (Яркин) повел своих бойцов к дальнему крыльцу, а Богуславский, звезда которого в эту пору была в полном блеске и достигла зенита, словно нарочно не замечал Петю, а ведь вскоре начнется уже закат его звезды, и довольно быстрый, в середине лета. Петя даже специально несколько раз прошелся под носом полуодетого офицера, всего лишь год назад поименованного в полковники; при этом Петя мог рассмотреть Богуславского в подробностях. Росту в полковнике было меньше среднего, тело, не затянутое ремнями, не запрятанное в замкнутый на пуговицы и крючочки китель, обнаруживало очевиднейшую склонность к тучности, а лицо пухлое, с тяжелыми мешками под глазами было, напротив, не по возрасту розовое; словом, не только Петя, но и более наблюдательные люди не могли бы допустить, что видят перед собой человека, всю жизнь предполагавшего в себе склонность к тонким и возвышенным чувствам и даже романтизму, для которого, к сожалению, еще не настало время, зато он был наделен безусловным дарованием исполнительности и твердости и этот дар в полной мере в себе развил.

Богуславского же, напротив, Петя интересовал не больше, чем почерневший от дождей и морозов столб с фонарем на краю дороги, при том, что Петя молодецкатым жестом поправлял свою кубанку с эмблемой НКВД и убирал складки на ватнике за спину, за ремень, на котором упрямо висела пустая кобура. Втайне Петя надеялся, что полковник, увидев, что сотрудник оказался безоружным, даст ему хотя бы на время свой «ГТ» или как-нибудь иначе поправит дело... Неисправимый мечтатель!

Прошла минута, вторая, третья. И Петя решил, что надо действовать самому, он метнулся к дальнему крыльцу, оскальзываясь на ступеньках, чистых от снега только посередине, взбежал наверх, но понял, что опоздал: отряд из трех человек уже скрылся в подъезде, с лестницы на него пахло теплым ароматом вареного мыла — где-то стирали и кипятили белье.

Петя вернулся на улицу, на тот случай, если кто-нибудь спрыгнет с крыши или выскочит из второго подъезда.

Опросить жильцов, не забегал ли кто посторонний, было для Капустина (Яркина) делом двух минут. Левая квартира на втором этаже была заперта, и бабка из квартиры напротив сказала, что соседи поехали на свадьбу в Оленью всей семьей с детишками, потому что у ребят все равно скоро каникулы.

Тут наступила самая деликатная часть операции. Люк на чердак был распахнут, на приставленной лестнице — мокрые следы, так что и собакой не надо быть, чтобы понять опасность, грозящую любому, кто высунет первым голову из люка на чердак. Вооружен сбежавший или нет,

скорее всего, можно будет узнать по дырке в голове. Капустин (Яркин), чтобы не нервировать бойца, даже как бы между прочим кивнул на приставленную лестницу, скомандовал:

— Лагофет, вперед!

Лагофет, успевший вспотеть, пока бежал от караулки к дому, завертел головой, словно собирался отыскать какого-то другого Лагофета, которому предстояло лезть наверх. Взгляд его натолкнулся на бабу, спрятавшуюся в квартире, но голову высунувшую на лестницу, при этом она держала руками дверь.

— Что смотришь?! — вдруг рявкнул Лагофет.

Голова исчезла, дверь, обитая чем-то вроде ватного матраца, зашитого в мешковину, захлопнулась глухо и мягко.

— Может, этого длинного позвать, он посмотрит. — В голосе бойца дрожала неуверенность и надежда, что во время разговора командир придумает что-нибудь спасительное или, как Чапаев, пойдет вперед сам.

— Вперед, чувырло! — не разжимая зубов, выдавал начальник конвоя, подкрепив команду увесистым матюком и жестом руки с наганом, указывавшей направление движения.

— Люди смотрят... — все так же, не разжимая зубов, прошипел Капустин (Яркин), имея в виду, быть может, скрывшуюся за дверью бабу и теперь наблюдавшую сквозь замочную скважину; или напоминание традиционно подразумевало народ, отечество и людей доброй воли. Как ни странно, последний довод как-то успокоил бойца, сработал, Лагофет припал к лестнице и медленно, на каждую ступеньку становясь двумя ногами, двинулся вверх, запрокинув голову, готовый в любую минуту слететь вниз.

Трехлинейная винтовка с примкнутым граненым длинным штыком для боя на чердаке вещь совершенно непригодная, но другого оружия у Лагофета не было. Дойдя до середины лестницы и понимая, что следующий шаг уже сделает его голову уязвимой, боец стал пихать в люк винтовку. Командир видел, что солдат нервничает, переживает, волнуется, делает нелепости, но останавливать его не стал, он ждал выстрела, главное было узнать, вооружен сбежавший или нет.

Винтовка не без труда была выпихнута наверх и лежала поперек люка. Окажись преступник рядом, ему ничего не стоило бы завладеть оружием или, говоря их нелепым языком, задюкать этого дубака на хомут, то есть взять конвоира сзади за горло.

Прежде чем высунуть голову, Лагофет спустил курок и шарахнул, после чего сразу же резко выскочил на чердак.

Чердак был засыпан между балками на полу шлаком, и хруст от собственных шагов мешал слушать, есть ли еще кто-нибудь на чердаке.

Приглядевшись к сумраку, Лагофет увидел рядом со вторым люком на вторую лестницу лежащего лицом вниз, распластанного человека, в сером ватнике, с раскинутыми ногами в кирзовых малоношенных сапогах.

— Готов! — победно крикнул вниз Лагофет и закинул ненужную больше винтовку за спину. Как много чувств и мыслей было в этом торжественно-небрежном «Готов!» — и гордость победителя, и какой-то неясный упрек командиру, и благодарность судьбе, и похвальба меткого стрелка, и даже казалось, что в это короткое высказывание смог уместиться и усталый вздох человека, хорошо сделавшего важную и трудную работу.

— Где? — Капустин (Яркин) мигом влетел на чердак.

— Да вон же...

Командир и боец подошли к убитому.

— Куда ты его? — великодушно прощая прошлые ошибки и переходя на деловой товарищеский тон, поинтересовался офицер внутренних войск Капустин (Яркин).

— А х... его знает, — с небрежностью победителя бросил боец.

На чердак вскарабкался и второй конвойный, понимая, что придется тащить и лучше не ждать, пока позовут особо.

Капустину (Яркину) все-таки было по-человечески интересно «куда?», и он тронул носком сапога плечо лежавшего, чтобы перевернуть тело и как следует посмотреть.

Голова убитого поднялась:

— Дяденька, не убивайте... Дяденька, не убивайте...

Впечатление было таким неожиданным, что и речи не могло быть о том, чтобы добивать.

— Куда тебя? — спросил Капустин (Яркин), не утоливший любопытства и засомневавшийся в меткости своего бойца.

Паренек лет семнадцати, не поворачивая лица и все еще ожидая удара, встал на корточки, постоял, потом распрямился и поднял руки, как пленный немец в кино. Он смотрел куда-то мимо, на грубо сложенные печные трубы, нештукатуренные, с выступающим между разномастными кирпичами раствором, смотрел на бельевые веревки с двумя забытыми деревянными прищепками и только боялся взглянуть на конвойных, будто знал, что если взглянет на них, то сразу и умрет. Он хорошо знал, что они вправе сейчас сделать.

— Да он живой, — сказал подошедший второй охранник, внося свою лепту в задержание.

— Пошел вниз! — по-командирски рявкнул ему Капустин (Яркин). — Живой... живой... Смотреть надо, а не о бабах думать на вышке, вот тогда и не будет живой.

Начальник конвоя легко обшмонал беглеца, убедился, что оружия при нем нет, и ударил наганом по поднятым рукам, чтобы опустил.

К полному удивлению Пети и остальных зрителей происшествия, без всяких предисловий с невысокого крыльца, расположенного ближе к дороге, а не с того, куда ушли бойцы, серым комком вылетел заключенный, словно им выстрелили из рогатки, и, прокатившись по снегу, мгновенно вскочил на ноги.

На крыльцо тут же вышли два бойца и командир. Опережая солдат, Капустин (Яркин) скатился с крыльца и, подбежав к пойманному беглецу, со всего маху лупанул его рукояткой нагана между лопаток.

Петя ждал, что после этого удара, от которого любая спина будет пробита насквозь, а уж на ногах не устоит даже конь, беглец растянется по снегу и больше не встанет. Но молоденький заключенный только вздрогнул, словно проглотил удар.

Капустин (Яркин) как-то очень быстро, еще на чердаке и на лестнице, пока спускались, пережил радость быстрой победы, даже успел испытать определенное удовлетворение от того, что Лагофет не подстрелил этого недоноска и теперь не надо его тащить, но уже на крыльце при виде полковника, все еще стоящего перед домом, при мысли о трудной и долгой погоне за вторым, злость мгновенно вспыхнула у него в сердце и тут же опалила разум. Он еще пару раз вломил пойманному беглецу рукояткой между лопаток, а тот только вздрагивал и выл:

— Дяденька, не убивайте...

Собственно, крайнюю меру, можно сказать, подсказал сам виновник происшествия; этот тип, закрывавший почему-то ладонями лицо, хотя по лицу никто его бить не собирался, опять стал кричать:

— Дяденька, не убивайте! Дяденька, не убивайте! — и этими самыми криками, скорее всего, и подсказал Капустину (Яркину) мысль о бесплодности ударов по позвоночнику и о возможности кончить дело одним махом. Только одним махом не получилось.

Не помня уже себя, Капустин (Яркин) отпустил заключенного шагов на пять и шарахнул прямо в спину. Петя недоумевал, как же так, капитан внутренних войск — и промазал, зато шедший впереди конвоир только что не подпрыгнул, когда рядом с его ногами пуля выбила ледяной осколочек из твердо утопанной дорожки.

Парнишка-заключенный, казалось, не слышал выстрела, потому что, когда грохнуло во второй раз, он так же, не оборачиваясь и не отнимая ладоней от лица, выкрикивал свое заклинание.

Промазав во второй раз, Капустин (Яркин) распалился еще больше, но тут конвой вышел на Кировскую аллею, по которой от Чкаловской катила, весело гремя цепями на задних скатах, газогенераторка начальника Морского канала, так называлась отводящая деривация, участок от Лупчи до Кандалакшского залива. Машину эту Петя знал и уважал как последнюю газогенераторную во всем гараже.

Конвойным пришлось посторониться.

— В амбар его! — скомандовал Капустин (Яркин) шедшему сзади конвоиру.

Петя, ступавший в двух шагах сзади от начальника конвоя, увидев, что командир сунул наган в кобуру и направился к полковнику Богуславскому, решил повернуть обратно.

— Дурачок, — как о нашалившем школьнике, сказал Капустин (Яркин), будто и не палил только что из нагана. — Второй посерьезней будет, а этот так, баклан из валетных

— Дежурную смену подымай! Собак давай! Хоть сам носом по следу иди, а чтобы дотемна живого или мертвого! Не понял?! — заорал вдруг Богуславский, будто рассчитывая, что его голос и рвение услышит вышестоящее начальство, которому сейчас надо доложить о побеге, если уже не доложили.

— Кандалакша прикрыта. Уже дали знать, — совсем как на равных сказал Капустин (Яркин), не придавая крику никакого значения. — Через военный городок он тоже не поперет. Может за реку двинуть.

— Чтоб под елкой околеть? — злобно сказал Богуславский.

— Да лыжи-то в каждом доме, товарищ полковник, — разумно заметил капитан. — Надо гарнизон поднимать.

— Ладно. Давай поднимай людей, поднимай собак. Околеешь тут с тобой.

Во время этой уже примирительной речи Богуславский вынул обойму из рукоятки «ТТ», потом оттянул затворную накладку и поймал в ладошку блеснувший латунью патрон с короткой толстенькой пулей, показавшейся Пете чем-то похожей на голову полковника.

Наблюдавшие эту сцену подошедшие взрослые и сбежавшиеся два десятка школьников, не отобранные специально, а выхваченные случаем из числа жителей поселка, дружно показывали удивительное, ни с чем не сравнимое бесчувствие.

Неужели старинная история о душе, проданной властителю тьмы, до недавних пор считавшаяся порождением дремучих суеверий и невежества, и есть чистейшая правда, а поэтическая фантазия, для смягчения этой правды, лишь преувеличила дары, полученные в обмен за отданную душу?

Трудно сказать, какие блага были предложены жителям поселка Нива-III. Судя по тому, что никакими несметными богатствами, помимо полярной надбавки к зарплате, они не располагали, никакими волшебными дарами не владели, даже продовольствием и промтоварами снабжались довольно скверно, надо думать, что на этих тайных торгах с существом, наделенным высшей властью, речь шла о жизни.

Самое же замечательное вовсе не в молчаливой созерцательности бездушной публики, а в том, что и сама жертва, пребывая на краю жизни, под огнем и ударами конвоирского нагана, видя перед собой толпу, не подумала взывать к ней и искать у нее защиты, связывая все свои слабые надежды на продолжение жизни только лишь с Капустиным (Яркиным), будто бы вся бездна добра и великодушия была сосредоточена в нем одном.

Где же пребывали в эти торжественные мгновения публичного покушения на убийство погнутые, поработанные или похищенные души Петиных современников? Кто стал их всевластным хозяином? И на что они были ему нужны, эти души? Что он собирался с ними делать?

Нет ответа.

Так оно и бывает, когда речь идет об опасной болезни, назвать которую собственным именем никто не спешит.

Хотя первого поймали как-то наскоро, словно между прочим, и ничего замечательного не произошло, Петя соображал, что для него все складывается не так уж плохо. Первого поймали все-таки при его участии, и Богуславский это видел и, наверное, расскажет Ирине Константиновне; видели и женщины, стоящие здесь, и смогут подтвердить, что он был почти что в оцеплении. А вот в поимке второго сбежавшего он сможет проявить себя целиком, и тогда он уйдет из гаража, где работает автоинспектором, в отдел и станет сотрудником.

— Тебя-то, Петенька, здесь только не хватало, — сказала одна женщина. — Смотри, что делается...

— Пете орден нужен, — хмыкнула вторая, вспомнив, наверное, как на 9 Мая на Петю в гараже надели штук двадцать орденов и медалей, и он, счастливый, ходил и поздравлял всех с праздником.

Одну медаль «За победу над Японией» он все-таки потерял, или мальчишки по-тихой сдернули, только пришлось виниться перед расстроеным пьяным хозяином, обещать заслужить и вернуть. «Петя, Петя, — сокрушался победитель Японии Подполякин. — Когда теперь с Японией воевать будем? Ты подумай?» После этого случая, когда не было в гараже других тем для разговоров с Петей, кто-нибудь спрашивал, как у нас дела с Японией, не назревает ли серьезный конфликт, и все смеялись: «Подполякин их хорошо поучил, теперь не скоро хвост поднимут!» В шутку, конечно, предлагали Пете на манер китайца записаться добровольцем в Корею, и когда он совсем уже собрался, то дружески объяснили, что Япония в военных действиях не участвует, хотя и сочувствует лисынмановской клике, но все равно с краю. Тем не менее Петя внимательно следил по газете, выставленной в витрине у почты, за событиями в Корее, чтобы не проморгать момент, когда он может понадобится, а пока вел подсчет американским самолетам, сбитым зенитными частями Народной армии и стрелками-охотниками за вражескими самолетами. Вопрос был настолько привычен, что Петю запросто спрашивали: «Сколько сегодня?» «Два», «Три», — с готовностью отвечал Петя. Когда было сбито четыре и больше, Петю поздравляли. Его дружески журили за то, что позволяет американцам обстреливать из артиллерии в Паньмыньчжоне район, где проходит

мирная конференция, и снаряды рвутся вблизи помещений, где ведутся переговоры. И хотя Петю иногда в гараже расспрашивали об американских бомбах-минах, которые занимали бывших фронтовиков: бомба не взрывается, когда падает, а вот если к ней подойти и тронуть, бьет всех вокруг осколками, спрашивали, почему отдал Пусан, почему ушел из освобожденного Сеула, в общем, допекали и по внутренней, и по международной политике. Имя в гараже нужда и заботы скудного существования отлетали от Пети, и он жил полнокровной жизнью, даже в милиции он не чувствовал себя так хорошо, но понимал, что пока еще не заслужил и все впереди.

Петя появлялся в гараже произвольно, и никто не решался лишить его этого безвредного удовольствия.

С сокрушенным видом он осматривал машины, иногда ложился на фанерный лист и, как ремонтник, подолгу лежал под каким-нибудь изношенным самосвалом, решая какие-то непростые задачи. С удовольствием он проверял работу системы освещения, иногда шоферы разрешали ему самому включать и выключать фары, тогда он выходил из кабинки и, что-то ворча под нос, протирал стекла и фонарь освещения номерного знака, если таковой был цел. Любил Петя проверять работу тормозной системы, люфт руля и давление в скатах постукиванием носка валенка по колесу. Никто серьезней Пети не относился ни к машинам, ни ко всему, что с ними связано, и за это все его уважали. Иногда он мог полдня просидеть, проверял старые наряды, по которым уже были выплачены и частично прожиты и пропиты деньги, смотрел кипы старых путевок, накладных, прошлогодние диспетчерские журналы, делал сдержанные замечания. Как человек некурящий, он никогда не засиживался слишком долго в курилке, считая это для своего инспекторского звания непозволительным. Овеянный милыми запахами и звуками гаража, Петя делал подчас и строгие замечания, слышал, как правило, в ответ утешительные заверения в немедленном устранении неисправности, но никогда не делал замечания по одному и тому же вопросу дважды: то ли забывал, то ли боялся показаться чрезмерно докучливым, преследующим своими придирками кого-нибудь одного.

В курилке разговоры с Петей шли на самые разные темы, ответы всегда казались неожиданными.

Петя не знал, что он глуп, и поэтому не старался казаться умным.

— Петя, а земля круглая?

— Я не знаю, — серьезно говорил Петя и готов был услышать любые суждения на этот счет.

— Петя, хочешь начальником милиции быть?

— Сначала надо походить сотрудником, — со вздохом говорил Петя, но глаза его загорались.

Какая несчастная звезда заставила его испытать однажды восторг и трепет перед милицейской фуражкой, португеей и кобурой, так и осталось невыясненным.

— Петя, хочешь долго жить?

На этот вопрос Петя никогда не отвечал, а только тихо улыбался и виновато смотрел на спрашивающего, словно знал о своей короткой жизни наперед и не хотел огорчать ответом или, как раз напротив, думал, что переживет всех, и тоже не хотел огорчать такой новостью близких ему людей. Впрочем, может быть, улыбался и потому, что не знал, зачем ему нужна жизнь и что с ней делать.

Не сидел Петя в курилке подолгу еще и потому, что ему нравилось уходить.

— Петь, куда ты, посидел бы еще с нами, — говорили ему, едва он начинал обеими ладошками похлопывать себя по коленям, верный признак готовности уйти.

— Я-то посижу, да дела не стоят, — к общему удовольствию произносил Петя в сотый раз где-то услышанную присказку, все смеялись, а он уходил решительно и поспешно, хотя шел и недалеко: в диспетчерскую или на ремзону и мог даже минут через пятнадцать-двадцать возвратиться, а мог уйти и на неделю...

Богуславский стремился немедленно развивать боевые действия, и вовсе не потому, что большая часть воинов, как заметил еще партизан Денис Давыдов, лучше воюет при зрителях, а просто потому, что вечером, при телефонном докладе в управление лагерей в Колу, он должен сказать, что тревожное оповещение с транспорта, городской милиции и местных властей снято, бежавшие водворены на место и готовятся к пересуду за побег.

На отдаленных лагпунктах, как известно, существуют специальные дежурные наряды вроде тревожных групп на погранзаставе, только числом поменьше, два-три человека, имеющие легкое стрелковое вооружение, трехдневный, носимый на себе запас продовольствия и постоянную готовность преследовать бежавших. Держать такие группы в местности густонаселенной,

предоставляющей беглецам множество маршрутов, нет смысла, и, хотя методики разработаны на основе изучения большого опыта и громадного количества разнообразных фактов, разумеется, никакого шаблона в таком деле быть не может и всегда надо исходить из конкретной обстановки.

На поимку типичного вешера вокзальной масти, краснушника, вооруженного спрятанной в сапог мытой, по-человечески говоря, половинкой безопасной бритвы и выдрой, то есть вагонным ключом, Богуславский получил от гарнизона целую роту пехоты неполного состава. В роте недавно произошел досадный случай, шло следствие, и чтобы представить к трибуналу командира роты и командира второго взвода в самом лучшем виде, командование предоставило им возможность отличиться в поимке особо опасного вооруженного преступника, как преподнес Богуславский своего байданщика, способного разве что вертать углы, то бишь красть ручную кладь у ожидающих поезда пассажиров.

Ситуация побега была подогрета многими фактами. Решение на побег оформилось окончательно, стало волнующей душу реальностью 23 февраля, когда в обед дали буру, припахивающую керосином. Тридцать два человека есть отказались, остальные жрали, хотя о припахивании говорили все, и даже событие, случившееся 5 марта, и порожденные им разговоры об амнистии уже не могли остановить раскрутившийся маховик.

Конечно, смотреть на побег, погоню и поимку беглеца со стороны, быть может, и занимательно, но участвовать во всей этой колбасне даже при том, что двух совершенно похожих случаев, как правило, не бывает, все равно не так интересно. Скорее всего, и здесь Петя составлял исключение, первый и последний раз участвуя в таком неожиданном и увлекательном происшествии.

Участие в погоне роты, где командиром капитан Топольник, тоже в известном смысле связано с 23 февраля. Перед праздниками устраивались по ротам стрельбы с тем, чтобы победителей гарнизонного соцсоревнования поздравить в торжественной обстановке. В пулеметной стрельбе Топольник был уверен, потому что стрелять должен был от роты Федотов, пулемет любивший и стрелявший неплохо. На стрельбище обстановка, конечно, была скорее спортивная, чем боевая, этим и объясняется тот факт, что возвращавшийся после замены мишеней солдатик оказался перед пулеметом в тот самый момент, когда Федотов начал его заряжать. Вот тут как раз после подачи второй рукоятки пулемет начал произвольно стрелять, и тому солдатике, что возвращался от мишеней, перебило обе ноги. Вокруг происшествия было создано общественное мнение, рота Топольника снята с соцсоревнования, и началось расследование, по которому Топольник, как командир роты и непосредственный начальник Федотова, командира взвода, должен был идти под суд. А причина оказалась в стертости «шептала» нижнего спуска и изношенности боевого взвода «лодыжки» в замке пулемета, от этого и произошел произвольный спуск ударника с боевого взвода в момент опускания рукоятки на ролик. Что и подтвердилось в выводах комиссии. Все понимали, что ни Топольник, ни комвзвода, ни тем более Федотов здесь ни при чем, виноват был начарт, выдавший для соревновательных стрельб не новенький «РПГ», как все просили, нет, он их в масле хранил, а эти старые самовары системы «Максим».

Сочувственное отношение к пострадавшим позволило командованию оставить всех до суда при исполнении служебных обязанностей.

Воинство, вышедшее во главе с капитаном Топольником на поимку вертельщика и поступившее под непосредственное командование Капустина (Яркина), выглядело совсем не страшно. Пятьдесят два штыка и отделение автоматчиков вывел Топольник по боевой тревоге; во избежание возможных нареканий от начальства было приказано выйти в полном снаряжении, то есть с саперными лопатками и противогазами. Глупость, конечно, но Топольника тоже можно понять: никто бы не хотел оказаться на его месте. Солдаты попытались роптать, но командир роты быстро нашел нужные слова, убедившие личный состав в необходимости беспрекословно выполнять приказ командира.

Ко времени прибытия роты в поселок Капустин (Яркин) уже имел кое-какую ориентировку: беглец был на водокачке, стоявшей на горке, на краю поселка, отобрал у дежурившей там Галины Павловны Шерстогиной взятую на дежурство еду и финку, служившую для разных надобностей. Жрачку взял, а от лохматой кражи воздержался, хотя Шерстогинова и в прозодежде была, как говорят в зоне, — товар, то есть женщина полная и симпатичная. Прихватив стоявшие там же лыжи шерстогиновского сына, лыжи хорошие, с полужесткими креплениями, легко подгоняющимися по ноге, он двинулся вниз вдоль водовода, шедшего к железной дороге, а потом к реке.

Морщины, собравшиеся у переносицы Капустина (Яркина), мало-помалу разглаживались и даже исчезли совсем, когда он взял след, но собака довела только до водокачки. По лыжному следу собачка уже не вела.

Петя увидел растянувшуюся, шедшую на лыжах по обочине дороги цепочку солдат и пристроился к ним. Шинели, противогазы, винтовки, а главным образом лыжи, широкие, плоские, слегка закругленные в приподнятых носках, назывались у местных мальчишек «гробы» и покупались у солдат за пять-десять рублей только для изготовления санок и нарт; лыжи, конечно, повышали проходимость, но не способствовали быстроте передвижения роты; таким образом Петя шагом вполне поспевал за неторопливо тянувшейся цепочкой воинов. Крепления на солдатских лыжах были мягкими, из брезентовых ремешков с металлическими пряжками самой примитивной конструкции. Сапоги, всунутые в такие крепления, ходили ходуном, так что тормозить при спуске, делать на ходу развороты было решительно невозможно, тащиться же по ровному месту, по накатанной лыжне еще кое-как удавалось. Немудрено, что после спуска с двух горок начались небоевые потери: рядовой Урузбаев подвернул ногу и, так как двигаться мог с трудом, был вместе с рядовым Алимбековым отправлен обратно в часть. Петя попросил у Алимбекова лыжи, заверяя, что вернет их обязательно, тут же свои лыжи предложил и добрый Урузбаев, уверяя, что у него и крепления лучше, и носки более загнуты. Петя взял лыжи Урузбаева. Теперь он чувствовал себя вполне в строю, готовый, как и все, выполнить свой долг и обезвредить особо опасного преступника.

В шестнадцать часов десять минут рота перевалила через Кировскую железную дорогу и начала выдвигание к мосту через реку Ниву, так как по телефону из охраны взрывскладов, единственных строений, расположенных в километре от моста на той стороне реки, сообщили, что видели человека, перешедшего мост и двинувшегося лесом вниз по течению реки, то есть в сторону Кандалакши.

Слева громоздились покрытые снегом сопки, огромные и чужие, а справа безумолчно ревела река, занятая собой, своим делом, словно спешила убежать от готовивших ей западню и смерть гидростроителей.

Клокочущую на камнях и не замерзающую даже в самые лютые морозы Ниву можно было перейти вниз только по мосту у тюрьмы в Кандалакше или выше по течению Нивы, километрах в семи, по замерзшему Плес-озеру. То, что беглец двинулся вниз по реке, значительно упрощало задачу: мост в Кандалакше, естественно, наблюдался, а до ближайшего жилья через лес и сопки было километров двадцать пять, такая уж тут была география.

Зимний лес, как и всякая медаль, имеет две стороны. Если вы полны сил и задора, бегите от шума и забот, вдохните полной грудью пьянящий свежестью и чистотой морозный воздух, уйдите в сказочные дебри, где, согнутые под тяжестью снега, образуют причудливые арки березы и ольха, где каждый пенек украшен пышной белой боярской шапкой, а под невесомым снежным одеялом едва слышно шумит ручей, будто ведет какой-то разговор. А огромные ели, одетые в белые шубы, становятся стройными оттого, что под тяжестью снега даже самые толстые нижние ветки уже не топорщатся во все стороны, но по мере возможности прижаты, как прижимает руки по швам исправный солдат, и целое воинство белых великанов, одним своим видом и неколебимым стоянием готовых отворотить любое нашествие, внушают вам чувства самые поэтические и заставляют забыть, хотя бы и ненадолго, обыденную жизнь, где нет тайных речей, что несут под снежным покровом неугомонные ручьи к буйной, стремительной реке, не признающей ни зим, ни морозов и наполняющей все окрест жарким шумом кипучей воды.

Иное дело, если вас в зимний лес погнала нужда, а то и беда, что ж, вы на какие-то мгновения, быть может, и забудете вашу беду, потому что сам лес потребует такого напряжения, такого внимания и столько сил, что борьба эта поглотит вас, пусть и на короткий срок, но всецело. Стараясь двигаться скрытно, вы будете держаться ближе к деревьям, значит, там, где рыхлый снег будет затягивать чуть не по пояс, как в трясину, ненароком задетая ветка обрушит на вас целый сугроб, а то и не один, а разогнувшаяся березка, едва сбросив снежный горб, хлестнет голыми ветками и собьет шапку. Но горе вам, если вы не услышали бульканье ручья под снегом, предательская снежная перина рассыплется под тяжестью лыж, и хорошо, если беда застала вас на неглубоком месте и в воде оказались одни только лыжи и ноги, на незамерзающих ручьях есть и ямы, где зимует форель, туда можно ухнуть и по пояс.

Капустин (Яркин) вместе с Топольником и нарядом из охраны лагеря, как стальная игла, прошивали пространство на своих легких и прочных лыжах и тащили за собой растянувшуюся чуть ли не на полкилометра ниточку вооруженных солдат.

На Пете не было тяжелой поклажи и оружия, да и лыжи Урузбаева оказались хорошо промазанными лыжной мазью, отчего, быть может, солдат так раскатился на спуске, что в конце горки действительно крепко растянулся, подвернув при падении правую ногу. На открытых местах, там, где можно было двигаться по насту, Петя обогнал тяжело передвигающихся солдат и все время приближался к головной группе, где шли командиры.

За мостом, направо, вдоль левого берега реки лыжных следов была пропасть, но свежих не так и много, а совсем свежих, сегодняшних, всего пять-шесть; расставив солдат по каждой лыжне, Капустин (Яркин) уже через полкилометра взял след: сличить прогулочные мальчишеские следы от ровного бега взрослого мужчины, а такой след был только один, для полярного волкодава, каким был Капустин (Яркин), несмотря на свой небольшой рост, не составляло особого труда. Когда подошли к 14-му ручью, увидели беду, в которую попал беглец: не разглядев опасности, провалился сквозь коварный снежный пух, прикрывавший ручей, и намочил лыжи. Вот — пробовал идти, но снежно-ледяные наросты идти не давали, Ага! Вот здесь все-таки догадался, лыжи снял, вот они, сбитые с лыж снежные комья, вот здесь, стоя на одной лыже, вторую стал растирать снегом, протер и надел, а надо бы еще подержать на морозце, дать подсохнуть... ага, трет вторую. Ясно. Теперь он в этих лыжах далеко не уйдет.

— Хорошо бы его слева верхом перехватить, — сказал Капустин (Яркин), воткнув обе лыжные палки перед собой и почти повиснув на них плечами — привычная поза отдыхающего лыжника.

Петя, услышав это пожелание, незаметно стал отодвигаться от командной группы, забирая левой и левой. Желание выполнить обходной маневр в одиночку заставило его действовать решительно и смело.

Этот маневр и стоил, в сущности, Пете жизни.

Такого количества вооруженных людей для поимки одного, как говорят настоящие воры, фраера было чрезмерно много, поэтому, когда Капустин (Яркин) приступил непосредственно к окружению и захвату, ему вполне было достаточно тех двадцати человек, что были под рукой. Ждать, пока подтянутся остальные, не было нужды и времени, начинало смеркаться. Брать решили живьем, потому что капитан Топольник, понимая, что преступник может оказаться под перекрестным огнем и стрельба чревата новыми неприятностями, разрешил стрелять только предупредительно вверх и, как последнюю крайность, в упор. Так и предупредил: «Х... с ним, пусть живет, лишь бы друг друга не перестрелять». Указание это слышали только те двадцать бойцов и пятеро из охраны, кого собрал, не дожидаясь, пока подтянутся все, Капустин (Яркин). Поотстало народу много, кто-то умудрился сломать лыжи, двое хромали, не умея удержаться на спуске, налетели на красивые, с пышными шапками пни, семь человек, как ни старались, все-таки намочили лыжи при переходе ручья и теперь составляли безнадёжный арьергард.

Отставший от своего отделения автоматчиков солдатик Черемичный, в отличие от других, пытался догнать своих. Расспрашивая тех солдат, что шли вперед, пытался выяснить, где же могут быть автоматчики. Один из неопределенных взмахов руки направил его по свежему следу Пети. Черемичный, опасаясь очередной выволочки, приналег.

Говорят, будто в XX веке, обогатившем человечество разными замечательными средствами и приспособлениями, изобрели нервно-паралитический газ, вырубающий у человека и разум, и способность к действию; это, надо думать, очень хороший газ, потому что под его воздействием человек никогда не совершит никакого безобразия, низости, подлости или преступления, а вот давным-давно изобретенные, непрерывно применяющиеся и постоянно совершенствующиеся средства морально-паралитические куда опасней. Парализуя совесть человека, они оставляют тем не менее за ним возможность совершения любых поступков, так сказать, по обстановке, в результате чего и происходят такие неожиданные и для самих граждан, и для их окружающих вещи, что в конечном счете грань между разумом и безумием становится абсолютно подвижной, гибкой и неопределенной.

Источники морально-паралитических средств усыпления совести бывают разные, но главным источником все-таки надо считать власть — это как бы ее постоянный побочный продукт, в большей или меньшей мере служащий для скрепления ее устоев.

Семимильные шаги науки приводят ученых к самым неожиданным наблюдениям. И надо думать, не за горами тот день, когда ученые захотят собрать исследования по теме «Психические изменения при моральной дистрофии власти», и вот тогда, быть может, и никчемная жизнь Пети послужит прогрессу науки.

Чем же интересен Петя в качестве homo insanus, человека безумного?

Да разве что тем, что он был верен своему помешательству, в то время как свидетельством высшего здравомыслия у его современников была способность постоянно менять «пункты помешательства», причем не без выгоды.

Сдается мне, что Петино безумие, в сущности, было не чем иным, как какой-нибудь разновидностью — даже не представляющей для науки интереса — «корсаковской болезни», поражающей в мозгу группу под названием гиппокамп, или попросту «морской конь». В этом случае больной, как известно, лишается долгосрочной памяти, что не мешает ему сохранить память оперативную, достаточную для решения ближайших задач, для достижения ближайших целей, быть может, и весьма сложных — победа в шахматной партии, например, или достижение власти. Вообще-то гиппокамп — это уже кора, но не лобных и затылочных долей, а то, что называется «знающим мозгом». Интересно отметить, что этот самый гиппокамп — одна из самых нужных вещей в мозгу, потому что по происхождению является деталью древнейшей, и будь она не самым нужным инструментом, давно бы отмерла, как хвост или клыки, не нужные homo sapiens для разгрызания костей и перепиливания сучьев. Недаром и расположился гиппокамп в мозгу как хозяин, со всеми удобствами, он одним концом заходит в глубину височной коры, а другим упирается в сердцевину мозга, в глубокую подкорку.

В условиях распространения острых инфекционных психозов, по моему убеждению, у людей отшибает память, то есть как раз и происходит поражение гиппокампа, и как следствие этого поражения расцветает покорная ограниченность и бессознательно рассчитанный отказ от саморазвития. Вот где демонстрирует свои неисчерпаемые возможности моральная пластичность человеческих душ; искусственно погашенные безусловные оборонительные рефлексы мгновенно или постепенно, но компенсируются оригинальным развитием условных ориентировочных рефлексов, обеспечивающих высокий уровень выживания, при условии бесстыдного выменивания у власти за лесть и неправду первых, еще незрелых плодов обещанного потомкам благоденствия.

Таким образом феномен Пети никак не подлежит рассмотрению в рамках традиционных психиатрических исследований, здесь нужна какая-нибудь наука вроде «Исторической психопатологии», и если такой науки еще не открыли, ее необходимо учредить немедленно.

Если на Петю взглянуть с другой стороны, то кое-кто может, конечно, спросить: есть ли отечество у этого человека и зачем оно ему дало эту судьбу? На это можно, конечно, ответить, что отечество это и есть наша судьба.

Власть — штука иррациональная, Петя этого не понимал, как не понимал этого и народ, в массе своей еще не охваченный успехами разума и даже пребывающий в бездне невежества, но душой уверовавший в возможность скорого несбыточного счастья, помня при этом только одно — нужны жертвы — и принося эти жертвы без счета, впрочем, счета у него как раз и не спрашивали.

Поскольку к возвышению личности ведет лишь точка зрения сверхличных ценностей, а торжество точки зрения личного блага приводит как бы к падению личности, надо признать, что Петя был идеальным воплощением искреннего служения этим самым сверхличным целям, не ставя личное благо равным счетом ни во что.

Была, например, у Пети тайна, которую без особого труда разгадал бы любой доктор Ватсон, однако никто в эту тайну проникнуть не хотел, и она умерла вместе с Петей. А тайна была математического порядка; с цифрами отношения у Пети были особого рода, совсем не такие, как у большинства людей с крепким начальным образованием.

Зовут Петю поколоть дрова.

— Петя, дров поколоть надо.

Когда к Пете обращалось человечество, он становился важным и умным до невозможности, как, впрочем, и все, сознающие вслух или про себя, что без них на свете никак не обойтись, и хочешь не хочешь — свои дела приходится откладывать.

— Поколоть, говоришь? — обязательно переспрашивал Петя.

— Поколоть, — наслаждался деловой беседой проситель.

— Дрова колоть?

— Свалили воз, к крыльцу не подойти.

— Подойдем, — спокойно отклонял попытку увести разговор в сторону Петя и переходил прямо к делу: — Сколько дашь?

— Тридцать дам.

Глаз Пети сжимался в пронизательном прищуре, и он смотрел на говорившего так, как смотрят люди, способные видеть насквозь все хитрости и уловки. И хотя у Пети никогда не было ни усов, ни

бородки, в эту минуту он был убежден, что похож как две капли воды на портрет Дзержинского, висевший в дежурной комнате милиции и на почте.

— Да-а... — протяжно заводил Петя и для убедительности тянулся поскрести затылок. — Ну и задал ты мне задачу на весь день... Тридцать, говоришь?

— Тридцать, как отдать.

Петя мотал головой, выжидающе смотрел на своего нанимателя, ожидая надбавки, а потом махал рукой от плеча, жестом лихим и решительным:

— Двадцать пять! Ни по-твоему, ни по-моему! — и выжидающе смотрел на обескураженного поселянина.

— Эк ты, двадцать пять! — чуть ли не возмущался наниматель.

— А вот так! — твердо стоял на своем Петя. — Двадцать пять, и без трепотни!

И сделка заключалась. Отступать было некуда.

Вообще-то Петю не обманывали, случалось, что при расчете накидывали пятерку-другую или подкармливали, даже давали еду с собой, и соленую тресковинку, и хлеба, а то и картошки.

Если бы кто-нибудь внимательно проследил математические упражнения Петра, то сразу бы заметил врезавшееся в его душу с первого класса недоверие к нулю. Узнав однажды, что нуль как бы ничего не значит, потом он уже провести себя не давал и все прочие объяснения считал человеческой хитростью и попыткой сбить его от истины в сторону. И не было на свете такой умственной силы, которая могла бы доказать Пете, что тридцать больше, чем двадцать пять, а триста больше, чем сто сорок шесть, почти в два раза.

Мысленным взором Петя созерцал цифру, состоящую из ничего не значащих нулей, а рядом выстраивалась другая, из полноценных знаков, и выгоды своей не упускал. Добрейший Вася Басков, токарь из отдела главного механика, искренний любитель человечества, несколько раз и в чайной, и на демонстрации пытался помочь Пете сделать необходимые шаги вглубь математики, но совладать с простой Петиной логикой не смог. Петя разъяснил губастому Васе Баскову ход своих мыслей: чтобы проверить, какое число больше, он цифры этих чисел складывал. Вот и выходило: три да нуль — три, а два да пять — семь. Семь больше трех? Больше! Стало быть, тридцатка — пшик, а двадцать пять — деньги. Из особой симпатии к Васе Петя шепотом предлагал ему считать так же.

Петя также был в полной мере убежден, что и сам он, и его крохотная матушка, и обширное помещение клуба в поселке Лесном, так же как и сам поселок вместе с речкой и расположенными за речкой сопками принадлежат государству, и мыслил себя как человека государственного.

И если уж говорить совершенно строго, в представлении Пети даже нужда и отчаяние, в которые была ввергнута крохотная семья случайностями голодных, холодных и бесприютных странствий, также были государственной собственностью и подлежали охране и сбережению в неприкосновенности, пока не последует указание, как и куда употреблять эту государственную бедность. Здесь надо заметить, что сам клуб уже два года по своему прямому назначению не функционировал, за исключением избирательных кампаний, когда он все-таки употреблялся как агитпункт, оживая и на месяц прихорашиваясь. Нивагэстрою этот барак с облупившейся штукатуркой уже был не нужен, а алюминиевому заводу, еще не развернувшемуся во всей полноте, еще не был нужен. Начальник коммунального отдела Тихомиров, на чьем балансе висело это печальное здание барачного типа, рассудил правильно, сохранив в нем проживающую комендантшу без права на площадь: необитаемые здания разрушаются почти мгновенно, а до этого проходят длительную пору превращения в общественный туалет. Таким образом, Тихомирову удалось в данном случае гармонизировать государственные и личные интересы граждан.

Семья Пети, надо сказать, принадлежала к той ступени человеческого развития, где дистанция между счастьем и несчастьем, с точки зрения лиц, достигших более высоких ступеней своих требований к жизни, казалась такой ничтожной, что даже была неразличима.

Так, в декабре 1947 года, во время денежной реформы, когда в ларьках и магазинах поселка были опустошены все полки, а там, где товары еще присутствовали, претенденты на них готовы были затоптать друг друга, Петя, сжимая в одной руке все материнские накопления «на черный день», пробился в хозмаг к прилавку с чрезвычайно уже ограниченным выбором товаров из трех-четырёх наименований и приобрел чуть ли не на все деньги двадцать семь топорич, купил бы еще пяток, но больше товара не было. До дому донес только двадцать три, частью растеряв на скользкой дороге, но был счастлив тем единственным счастьем, на которое не позарился бы никто другой не только в поселке Нива-III, но и на всем белом свете.

Женственная душа Пети постоянно искала обручения с властью, ощущая каким-то животным инстинктом, что только власть несет в себе истину, справедливость и порядок.

И потому, проходя мимо чертогов власти — стройкома, управления строительством, даже домов, где жило начальство, не говоря уже о двухэтажных учреждениях под красным флагом в Кандалакше, он всегда втайне надеялся, что будет замечен и призван.

Живя в неведении относительно того, что делается вокруг, Петя полюбил власть поэтически, не задумываясь, желая не только обожать, почитать, восхищаться ее безграничным и повсеместным торжеством, но и желая ей служить.

То, что простому смертному дается обширными трудами и горьким опытом, блаженному открыто ясностью простых истин; нельзя сказать, что Петя знал, но он чувствовал всем своим существом, не знавшим иной жизни, кроме той, что его окружала, что не было в летописях прошлого, не было в примерах настоящего такой обширной и беспредельной власти, которая заключала бы в себе без различия в климатах, языках и верах столь обширные пространства и неисчислимы народы. Принадлежать такой власти — значит делить с ней и честь, и славу, и геройство.

И немудрено, события как-никак происходили в ту пору, когда жизнь приобретала все более и более бессознательный характер, и в силу этого власть как бы утрачивала свои границы, и каждый, кто имел хоть капельку власти, мог убедиться, что хотя бы в одном каком-нибудь направлении, но и эта капелька может тяготеть к безграничности...

Черемичный был солдатом недалеким, он принял довольно неопределенный взмах руки, по которому можно было двигаться чуть не во все края света, за ясное указание и направился по следу Пети. Будь Черемичный посообразительнее, не так доверчив к чужому слову и жесту, он, конечно, не задумываясь, покати́л бы по широкому, растоптанному нижнему следу, а почему его черт понес верхом, он и сам не мог объяснить, когда его упрекали за опрометчивый непоправимый поступок. Казалось бы, невозможно спутать след, по которому прошли два, от силы три человека, со следами, оставленными Капустиным (Яркиным), Топольником и авангардом отряда. Это финны пройдут по лесу, и не поймешь, то ли пять человек прошло, то ли сто пять. А наши двадцать человек проедут, а след оставят такой, будто двести прошло, да еще троих волоком проташили.

Как только роту подняли по тревоге и выдали боекомплект, Черемичного не оставлял страх, страх за то, что он может потерять рожковый магазин. Он знал, что это такое! Если после стрельбы из новых автоматов Калашникова, приходилось ползать по стрельбищу, собирая и сдавая по счету стреляные гильзы «секретного» унитарного патрона, а зимой да при стрельбе с хода поиски гильз превращались в тяжелый ратный труд, то можно себе представить, что с тобой сделают, если потеряешь магазин с боевыми патронами, хотя бы и старого образца. Новых автоматов даже по боевой тревоге начарт, отвечавший за вооружение, выдавать не разрешил. В роте в ту пору было два комплекта оружия, и старое и новое. С новым выходили изредка на построение и смотры, маршировали перед гарнизонной трибуной, проводили показательные стрельбы, обычно же стреляли и ходили на полевые учения с трехлинейной винтовкой образца 91/30 гг. и автоматом «ППШ», выпуск которых во время войны довольно легко наладил Кандалакшский заводик по ремонту судового оборудования.

Конечно, удобнее было бы автомат закинуть за спину, и будь он у Черемичного за спиной, быть может, пока он возился, перетягивая из-за спины на грудь, пока то да се, может быть, и разглядел, что Петя это Петя, а не страшный преступник, на поимку которого была брошена армия. Если бы Черемичный спрятал рожок куда-нибудь в загашник, тоже, быть может, не случилось несчастья, но Топольник, желая постоянно видеть, что все оружие в порядке, все рожки на месте, запрещал их отстегивать и прятать по карманам. А как же подсумки? А вот так: подсумки выдаются, как известно, тогда, когда боец получает полный боекомплект, три рожка в подсумок и один непосредственно в автомат, а выдавать подсумок на один рожок не положено. Черемичный хотел было спрятать рожок в карман шинели, но, припомнив, что во время лыжных переходов, сопряженных с большим количеством падений в снег, рожок можно потерять, от этой идеи отказался, хотя и был далеко от глаз Топольника.

Таким образом, Черемичный держал автомат на груди, как партизан на известных монументальных полотнах, ствол и приклад мешали работать палками, но постукивание рожка по пряжке на ремне, напомилавшее звук треснувшего ботла, сообщало солдату покой и уверенность.

Двинувшись влево и наверх, Черемичный оказался как бы на третьей террасе, верхней из трех довольно четко просматриваемых ступеней, образовавшихся на левом берегу Нивы.

Бестолковый солдат вышел, как говорится, на финишную прямую, для Пети финишную, и хотя петляла эта «прямая», как и полагается лесной лыжне, другого пути у них уже не было.

Вообще понятие «прямой путь» люди давно не воспринимают прямолинейно, геометрически; прямой путь в ад, прямой путь в бездну, к гибели, к развалу семьи в жизни бывает не столь простым, как линия на бумаге. В иные времена подлость души обеспечивает прямой путь к успеху, и это тоже не значит, что хотя бы доказательство бескорыстия подлости не потребует путей извилистых, причудливых и вовсе не прямых.

Если вам говорят: «Идите прямо по тропинке», — это тоже не значит, что тропинка будет прямой, это значит, что вам указали всего лишь кратчайший путь к вашей цели. Поэтому даже кривые пути, если они кратчайшие, в жизни принято называть «прямыми».

Между Черемичным и Петей всего с полкилометра расстояния, скоро будем прощаться, а не рассказано гораздо больше, чем удалось сказать.

Ну хотя бы два слова о Третьей террасе, на которой разыграется трагедия. Эти террасы, особенно отчетливо читающиеся в устье Нивы, дают человеку, имеющему представление о геологическом развитии земли, возможность увидеть, как отступало море, как подымалась суша. А она поднимается и сейчас, вся Мурманская область в год вылезает из моря на пять—десять миллиметров, скорость, прямо скажу, сумасшедшая, это десять метров за тысячу лет! Чуть напрягите воображение, и сопки, бесконечной грядой стоящие от моря до Имандры вдоль берега Нивы, предстанут перед вами как острова, торчавшие еще недавно из холодного океана. Если двигаться вот так же вниз по реке по Третьей террасе, то в километре от устья Нивы можно было бы натолкнуться на стоянку первобытного человека, если б на этом месте перед войной не построили рыбоводный завод. Хотя особенно жалеть об этой потере не надо: с одной стороны, ученый Гурин все-таки успел собрать там черепки, скребки, каменные наконечники, почти все, что осталось нам в наследство от тех неведомых жителей, а с другой стороны, таких стоянок от Кандалакши до Умбы набирается что-то около пятнадцати. Кварцевые скребки и каменные топоры, конечно, невесть какое богатство, но здесь важен моральный фактор: они как бы вселяют в нас уверенность в том, что жить можно, обходясь только самым необходимым.

Отступление в столь далекие времена, быть может, смутит читателя, но ненадолго, пока не станет ясно, как близки нам эти первобытно-общинные времена на Кольской как раз земле.

Лапландский таракан или зубастая бабочка, которых вы без труда встретите в Монче-тундре, будь у них память и умение говорить по-человечески, рассказали бы, как первые позвоночные выходили из моря, где зародилась жизнь. Невероятная, трагическая птица гагара помнит ящеров, царивших на земле в меловой период, точно так же и людское сообщество сохранилось здесь до самого порога XX века в удивительной неприкосновенности. При всем богатстве истории Кольской земли, при всем авторитете имени «Кандалакша», поминаемом только письменно уже более полутысячи лет, все-таки надо признать, что большая история человечества касалась этой земли лишь самым краем.

Попутно надо рассеять широко бытующее мнение о том, что якобы название города Кандалакши произошло от слова «кандалы» и жизнь подневольная, тягостная, с элементами насилия всегда была уделом этой земли и ее жителей. Чтобы понять невеселое настоящее, хотелось, быть может, непременно откопать что-нибудь черное и мрачное в прошлом, поэтому даже название того же городка Кемь тоже пытались преподнести как неблагозвучную аббревиатуру. Нет, это только современному человеку кажется, что и климат, и земля, и все условия жизни здесь благоприятствуют для устройства каторги, а вот раньше, даже в пору самодержавия, никому это в голову не приходило; сколько памяти хватает, была эта земля и ее люди от века вольными: ни монгольское иго, ни крепостной полон, ни колониальное владычество не наложили печать ни на души обитателей заполярных тундр, ни на все их жизнеустройство. Ходили сюда и шведы, и финны с грабежом и выжиганием, жгли монастыри, солеварни, разоряли рыбные тони, душегубствовали; в один день 23 мая 1589 года в Кандалакше шведы четыреста пятьдесят человек убили, а осенью снова шайка в семьсот человек под водительством большого мастера погромов Светла Петерсона прошла огнем и мечом по Лопской земле, а уже в 1615-м Кандалакшский монастырь за себя постоял с честью, дав пример через века, и уже 23 сентября 1919 года дядя Ваня Лопинцев с пятью товарищами тоже встретил под Лувеньгой десант английских карателей огнем из пулемета и винтовок. Удар был такой силы и жертвы со стороны карателей так велики, что через несколько дней в Кандалакшский залив приполз английский авианосец в сопровождении миноноски, и партизан искали аж с гидросамолета. К этому времени Кольская земля покрылась каторжными тюрьмами и концлагерями, были они и в Печенге, в Александровке, Мурманске, Кандалакше, Кеми, да где их только не было, а когда мест все равно не хватало, то устроили еще и плавучий застенки на военном корабле «Чесма». Начав свою историю в бурную пору борьбы за счастливую жизнь, многие тюрьмы и лагеря станут знаменитыми

на долгие годы. Триумфальные шаги цивилизации, отмеченные прогрессом, обретавшим то формы рабовладения, то феодально-монархические, то всевластного воцарения торгово-промышленной аристократии, не несли в себе ничего привлекательного для обитателей самой древней на земле суши, приспособившихся жить небольшими общинами.

Цивилизация, ворвавшаяся сюда по железной дороге, построенной от Петрозаводска до Мурманска за двадцать месяцев, с марта 1915-го по 3 ноября 1916-го, поставила край сразу же на рубеж двух эпох. Рыбацкое село Кандалакша, за пять веков своего существования накопившее едва-едва четыреста десять жителей по переписи конца прошлого века, сразу же оказалось в пучине новейших политических тенденций. Большевик Тихомиров, эсер Кошелев, агитатор за Временное правительство Горский и большевистские лидеры, железнодорожный мастер Курасов и грузчик Лойко — все вместе жаловались на то, что местное население поражало их страшной общественной и политической отсталостью, духовной бедностью, полной неспособностью понять не только лозунги дня, но и такие простые слова, как «союз». Значения слова «союз» они не знали, и поэтому лишь с большим трудом удалось заложить основы местного рыбопромышленного союза и избрать его комитет. Жизнь, что и говорить, была нелегкой, даже тяжелой, но человек все-таки больше зависел от умения работать и удачи, чем от политики. И даже само понятие «власть» на этой земле многие века носило несколько мифологический характер.

Уже написана диссертация о строительстве Мурманской железной дороги, строительстве, надо признать, и по масштабам, и темпам, и сложности уникальное даже с точки зрения окончания XX века, но, если когда-нибудь будет написана история отношений человека с властью на самой Древней суше нашей планеты, хочется думать, что история Пети займет здесь свое скромное, но достойное место.

Большой светлый весенний день медленно сходил на нет.

Природа с глубоким безразличием к судьбе беглеца предоставила ему свои снега и просторы.

Три часа назад дернувшийся из рабочей зоны осужденный Бр-н Алексей Николаевич, сорока двух лет от роду, увидев на одном из подъемов, какое воинство двинулось за ним в погоню, думал теперь только об одном — как достойно сдать, то есть сдать так, чтобы остаться в живых, и он решил ждать, ждать в таком месте, в такой позиции, откуда можно будет беспрепятственно наблюдать поход преследователей. По опыту он знал, знал чутьем, что эта охота без добычи не вернется, стало быть, не надо вгонять в ожесточение, доводить до крайности.

Сумерки надвигались медленно, и до темноты надежно уйти, оторваться, спрятаться уже не удастся. В темноте же пристрелят, это точно, никто не будет ждать да разглядывать, есть у тебя оружие или нет.

Как он будет сдаваться, Бр-н не знал до самой последней минуты.

Если в первые минуты побега вся необъятность земного шара берет вас в свои истосковавшиеся объятия, если в первые минуты побега вы не можете напиться огромным чистым воздухом, обнимающим вас со всех сторон, вы глотаете его, втягиваете ртом, ноздрями, всем своим существом, и воздух свободы, хмельной как спирт, обжигает вам душу, то уже через час все пространство вокруг начинает сворачиваться и стягиваться в конус, на конце которого та единственная щель, тропа, дырка, через которую лежит путь на волю; ты уже один, должен решать все сам, первый раз за многие годы рядом нет никого, никто не вертит тобой, не крутит каждую минуту, но это еще не воля, ты все равно не можешь идти куда хочешь, делать то, что пожелает душа. Нет, неволя не осталась там, за проволокой, она сидит у тебя на плечах, ты тащишь ее на себе, не можешь сбросить, она погоняет тебя, вшибает в пот, сверлит мозг, а воздух, этот живительный напиток, которым час назад, казалось, никогда не насытишься, уже застревает где-то чуть ниже горла, с трудом прорывается в легкие, забитые махорочной гарью, и разливается холодным ознобом по всему телу.

Если адресоваться к геологическим образованиям, определяющим рельеф правого берега, то осужденный Бр-н двигался как бы по второй террасе, поэтому шедший выше Петя довольно быстро обогнал его и ушел вперед. Там, наверху, был все-таки наст, всегда к концу зимы спекающийся на открытых местах и в мелколесье. В сущности, климат в Кандалакше сырой благодаря преимущественно юго-восточным ветрам, дующим чуть ли не круглый год. Сырой воздух на дорогах устраивает гололед, а на снежных равнинах чрезвычайно благоприятствует образованию наста. Вот по этому насту Петя и урвал чуть не на полкилометра вперед от беглеца и рвал бы, может быть, так и дальше, до Малой стороны, как называют в Кандалакше заречный берег. Однако событие совершенно пустяковое заставило его двинуться вспять и натолкнуться на огонь автомата

Черемичного, в свою очередь не перестававшего удивляться, что никак не может догнать ушедший вперед авангард отряда.

Но прежде чем приступить к последним мгновениям жизни Пети, надо покончить с осужденным Бр-ным.

Когда вы на кон ставите жизнь, не чью-нибудь, а свою, вот уж где сердце не в ладу с разумом. Голова четко варит — все делаю правильно, все идет путем: только так! а сердце прыгает, как праздничный раскидайчик на резинке, прыгает во все стороны и, кажется, хочет сбежать от бестолкового дуrolома, который сам не знает, как себя спасти, да и его, трепещущее, подставляет под выстрел.

Осужденный Бр-н дал выкатиться Капустину (Яркину) и Топольнику по его следу на открытый проем между еловыми зарослями; здесь торчало десятка полтора обгорелых стволов, какие-то пни и несколько поваленных лесин.

Капустин (Яркин) шел легко, без напряжения, на своих офицерских лыжах, а легкие бамбуковые палки придавали ему вообще вид человека на лыжной прогулке. Следом за ним накатывал Топольник, тоже в ватнике и с автоматом за спиной.

Сначала их надо было остановить. «Стой!», «Не спеши, начальник!..» Все это не годилось, сгодились то, что вырвалось то ли из горла, то ли из взбудораженной памяти, то ли от великой тоски и желания охоту обернуть в игру.

— Все! Станция Березай, кому надо — вылезай! — истошно и неожиданно для самого себя и для преследователей заорал беглец, не показываясь еще на глаза.

Капустин (Яркин) действительно остановился, едва не налетев на него, затормозил Топольник.

— Щас начнет, — бросил, чуть обернувшись, Капустин (Яркин) Топольнику; не желая отдавать роль хозяина положения, он даже отступил с лыжни, чтобы дать офицеру подвигнуться.

Увидев, что Капустин (Яркин) не берется за оружие, не стал изготавляться к бою и Топольник.

— Я твой — начальник! Я твой! Вот он я! — все не появляясь, кричал беглец.

— Ты окружен, Бр-н! Выходи! — то ли осужденному, то ли для Топольника крикнул Капустин (Яркин).

— Все правда, начальник! Окружен заботой, окружен вниманием! Тобой окружен, начальник! Выхожу с поднятыми руками! Без доразумений!

— Щас появится, — предсказал Капустин (Яркин), опершись на выставленные вперед палки; сзади уже подкатили и толпились бойцы авангарда, человек десять.

Точно по предсказанию Капустина (Яркина) из-за густых елей на лыжне в тридцати пяти метрах от поджидавшей охраны показался улыбающийся во все лицо осужденный с высоко поднятыми руками.

— Все, начальник! Я сдаюсь. На твоих глазах кидаю заточку. Я чистый! — И действительно, Бр-н взмахнул поднятой рукой, и в сероватом воздухе мелькнул какой-то металлический предмет, улетаая в голые прутья кустов, наполовину засыпанных снегом. Финку, взятую у дежурной на водокачке, он выкинул минутой раньше, а теперь избавлялся от самой дорогой сердцу вещи, пронесенной сквозь такие шмоны, через такие досмотры, что и самому до сих пор не верится, это был вагонный ключ, транка, вещь для вешера незаменимая.

Бр-н двигался не спеша, пытаясь угадать настроение гражданина начальника, чтобы мгновенно отреагировать, если что-нибудь покажется подозрительным, но главное, он улыбался, уверенный, что в улыбающегося человека стрелять не станут.

Столпившиеся сзади офицеров солдаты тоже невольно улыбались и удовлетворенно переглядывались: все кончилось легко, благополучно, участие в боевом походе не только внесло некоторое разнообразие в монотонную жизнь, но и освежило нервы, пробудив от полусна службы. Каждый чувствовал себя человеком, необходимым в задержании особо опасного вооруженного преступника, и поэтому вправе был сам считать себя немножко героем.

Капустину (Яркину) совсем не нужно было возвращение Бр-на в зону, надо было думать и о других, надо было думать и о том, что на побег настраиваются обычно к лету; зимой и даже весной, пока не сойдет снег, как правило, не бегут, вот и будет хороший пример к наступающему сезону. «За такое погон не снимают», — подумал Капустин (Яркин) и потянулся к оружию.

Когда Бр-н, мелко переступая на лыжах, приблизился шагов на двадцать, Капустин (Яркин), поймав за спиной автомат за ствол, легонько передвинул его вперед и, не снимая перчаток, шелкнул затвором.

— Начальник! Не надо доразумений, я твой, — продолжал улыбаться беглец, уверенный, что стрелять в него не станут.

Топольник тоже снял автомат из-за спины, решив, что так надо, но взводить затвор не стал.

«Народу много, привяжут к лыжам, дотащат», — чувствуя за собой дыхание помощников, подумал Капустин (Яркин) и снял автомат с предохранителя.

— Станция Березай, гражданин начальник, я приехал. Вылезаю.

И Петя и Черемичный на лыжах ходки были аховые, и поэтому написать, как полагается в настоящей арктической повести или хорошем приключенческом романе с погонями: «их разделял час пути» или «их разделяли только двадцать минут бега на лыжах», — было бы в корне неверно, потому что движение на тяжелых, покрытых еще и толстым слоем масляной краски неуклюжих лыжах было для Черемичного опять же тяжелым ратным трудом, а у Пети то и дело развязывались и сваливались натянутые впопыхах на подшитые валенки мягкие крепления; остановки, вместе с падениями на спусках, были непредсказуемы по продолжительности. Расстояние между ними сокращалось лишь потому, что для Черемичного лыжня была понакатистой, вот он и приближался неудержимо к Пете.

Через полчаса неуклюжего скольжения по пустынной лыжне страх потерять рожок с патронами был вытеснен новым страхом — заблудиться, солдат начал соображать, что прет куда-то не туда. Впереди было тихо, хотя он останавливался и несколько раз прислушивался. А когда справа от лыжни из-под придавленных пухлым снегом еловых лап выпорхнули три белые куропатки, разбуженные, надо думать, Петей и настороженно выжидавшие новой опасности, Черемичный даже забыл, что вооружен и может защищаться; страх охватил бы и человека посмелей, взорвись в трех метрах от него снег и прошуми белыми шуршащими в воздухе крыльями какие-то существа, разглядеть которые и перевести дух удалось только на отлете. У Черемичного, пережившего страх, близкий к ужасу, хватило ума сообразить, что лыжня не очень-то ходовая, если он поднял пристроившихся на ночлег зверей. Вообще ни к чему героическому солдатик себя не готовил, о подвиге не думал, то есть в полной мере отвечал тому воспетому типу героя, который, не помышляя о славе, оказывается в нужной точке планеты и совершает, как он потом говорит, именно то, что на его месте совершил бы каждый.

А впереди ломил Петя в глубоком убеждении, что план Капустина (Яркина) выполняется точно, и в результате Петиного обходного маневра матерый преступник будет выгнан как раз под огонь движущейся низом армии.

Петя с трепетом и болезненным наслаждением, отчасти близким к страху, предвкушал торжество и победу.

Один из пологих подъемов, упиравшихся в ельник, заканчивался аркой, образованной согнутой в дугу тонкой березкой. Тот, что проложил лыжню до Пети, видно, стукнул по этой арке или, подныривая, задел за нее, с березы упал высокий снежный гребень, оставив лишь небольшие куски намерзшего крупчатого снега, но ствол не распрямился, тощая гривка голых веток на вершине примерзла к еловым веткам. Все это очень важно представить как можно реальнее, поскольку Петя благодаря своему незаурядному росту хотя и пригнулся, но кубанкой задел за березовый ствол. Сдвинутая в пылу погони кубанка с тусклой эмблемой НКВД покатила по насту вдоль лыжни вниз. Петя, оказавшийся по ту сторону арки, проводил глазами убегающий головной убор и замер в размышлении; спускаться вниз и подниматься снова — это потерянное время, матерый может уйти, с другой стороны, кроме эмблемы на круглой шапке, у Пети не было никаких знаков власти, а стало быть, и права преследовать и загонять преступника в нужное направление. Потоптавшись в раздумье, Петя стал неуклюже разворачиваться. В это время с другой стороны к открытой пологой впадинке приближался уже оправившийся от встречи с куропатками солдат Черемичный.

Капустин (Яркин) держал автомат за рукоятку и рожок и пристально смотрел на приближающегося осужденного Бр-на. Лицом тот, конечно, улыбался, а глаза смотрели тускло и тревожно.

Если бы в эту минуту можно было заглянуть под кубанку в череп Капустина (Яркина) и прочитать его мысли, то читать бы было особенно нечего. «Это надо сделать» — вот так примерно выглядело принятое решение, в пользу которого было огромное количество аргументов. И то, что не удалось прибить того, первого, тоже шло в подкрепление единственно правильного решения. А голоса солдат за спиной, переживавших встречу с матерым преступником, укрепляли уверенность, что понят будет правильно.

«Да, не хотел бы один на один с таким встретиться...», «Смотри-смотри, как идет...» — шипели кругом в уверенности, что Бр-н сейчас бросится на них и всех то ли загрызет, то ли задушит, а вовсе не рухнет на дрожащих в поджилках ногах.

Вина за побег всегда ложится на плечи конвоя, и, чтобы впредь не бегали, надо было, как любил говорить Капустин (Яркин), «провести гвоздем по нервам».

Капустин (Яркин) специально не решал, на каком шаге он это сделает, но ясно было, что ближе десяти шагов осужденный к нему не приблизится.

В это самое время где-то вверху и дальше просыпалась глухая дробь автоматной очереди, четко и раскатисто.

Капустин (Яркин) насторожился и в ту же минуту забыл о своем намерении.

Выстрелы прозвучали так, будто кто-то молоточком быстро-быстро простучал по доске, но привычное ухо Топольника отреагировало четко.

— Кого туда занесло, мать... Кто там у тебя, Куховаренко, воюет?! — крикнул он командиру отделения автоматчиков.

Оттуда же издали, откуда донеслось такое нестрашное постукивание автомата, раздался крик, крик неясный. Все, не сговариваясь, замерли, прислушиваясь, и на выгоревшую поляну отчетливо вступил снизу шум реки, несущейся с водопадным грохотом и шипением.

— ...о-о-ов! — донеслось снова.

— Кричит — готов, гражданин начальник, — первым догадался уцелевший Бр-н, чей слух и зрение пребывали в величайшем напряжении.

— Кто готов?! — рявкнул Капустин (Яркин), будто Бр-н пересказывал ему не слышанный всеми крик, а полученное письмо или телеграмму.

— Скричать вас хочет, свалил кого-то, — пояснил Бр-н.

Капустин (Яркин) поднял автомат и ударил очередью в воздух, обозначая для заблудившегося солдата место своего пребывания.

Бр-н не отрывал глаз от огненного язычка на дрожащем дульном срезе и проводил взглядом веером брызнувшие гильзы. «Мои», — мелькнуло в голове, сердце улыбнулось и успокоилось, не то чтобы совсем успокоилось, оно по-прежнему гулко ударяло изнутри, где-то рядом с левым соском, но уже не металось, стало биться ровней, признав все поступки этого дуролома разумными и правильными.

Дело между Черемичным и Петей сложилось так.

Перед пологим подъемом солдат раскатился, энергично работая палками и не отрывая глаз от рыхловатой лыжни, поэтому он увидел Петю только тогда, когда тот уже ринулся вниз ему навстречу.

— Стой! Стой! Стрелять буду! — пообещал Черемичный, сияясь остановиться, потом бросил палки вместе с толстыми трехпальными рукавицами, приспособленными вроде бы для стрельбы, хотя стрелять в них решительно невозможно.

На спуске морозный воздух обжег вспотевшую голову Пети, он слышал крик снизу, видел бойца, но разобрать слов не мог.

Черемичный видел, как на него сверху катится, раскинув руки с деревянными лыжными палками, жуткого вида фигура в ватнике, с открытым черным ртом и выпученными безумными глазами Редкие, слипшиеся от пота волосы, стриженные под бокс, делали голову вполне эковской, а ватник с портупеей придавал фигуре нечто партизанское.

А может быть, виноваты всего лишь сумерки, превращающие людей в привидения?

Размышлять было некогда, преступник команде не подчинился и летел прямо на Черемичного. Солдат выставил левую ногу вперед, вскинул приклад к плечу и, замирая от страха, дал очередь.

Петя рухнул мгновенно, будто кто-то его ударил кулаком в грудь. Ноги с лыжами вывернулись вперед, а тело опрокинулось навзничь. Одна нога выскочила из крепления, и лыжа с легким шорохом покатилась по насту мимо лыжни, мимо Черемичного, куда-то вниз и вбок, вторая лыжина встала косо поперек лыжни.

— Готов! Го-о-о-отов! — истошно орал солдат, не отрывая глаз от поверженного злодея, готовый стрелять, если тот пошевелится и попытается потянуться рукой к кобуре.

Взбитый при падении снег таял на разгоряченном лице мертвого Пети, чистые прозрачные капли собирались у глазниц и, не нарушая лесной тишины, скатывались вниз к уху; казалось, что Петя плачет, уставясь широко открытыми изумленными глазами в бездонную пустоту сумеречного

неба, где прямо над ним вспыхнула и задрожала первая крохотная звездочка, робко предвещающая наступление ночи.

В этот день, 26 марта 1953 года, во всех газетах огромной страны была опубликована глубокая благодарность от имени руководства страны за соболезнования в связи с кончиной великого вождя. Соболезнования были выражены более чем в двухстах тысячах посланий, поступивших от глав и правительств иностранных государств, от советских и зарубежных государственных, партийных и общественных организаций, собраний, коллективов трудящихся и отдельных лиц. Поскольку послания продолжали поступать, благодарность выражалась и за те, что придут сегодня и будут получены позднее.

Но вот что примечательно. Уже после изъявления благодарности, 27 марта в пятницу, в передовой статье «Высокая ответственность работника» имя великого вождя не упоминалось ни разу, так же как и в передовых статьях в последующих номерах: «Неотложные задачи орошаемого земледелия», «Неиссякаемый источник творческой энергии», «К новым успехам социалистической культуры», и так во все дни. Характерно, что в небольшом отчете, на четверть полосы, о ежегодном общем собрании Академии наук совсем недавно, 3 февраля, имя великого вождя поминалось четырнадцать раз, а 23 февраля читатель встречался с этим именем только на первой полосе газеты тридцать девять раз.

Историки непременно задумаются над сообщением о смерти лауреата международной Сталинской премии мира Ива Фаржа, возвращавшегося на автомашине ночью 28 марта из города Гори, куда он ездил, «чтобы ознакомиться с хозяйственным и культурным строительством Грузинской ССР», как сообщило телеграфное агентство Советского Союза, ни словом не помянув, чем дорог городок Гори всем борцам за мир на земле, а лауреатам Сталинской премии в особенности. В сообщении следовало краткое, но убедительное описание тяжелого черепно-мозгового повреждения, «вследствие чего развилось коматозное состояние с явлениями правосторонней гемиплегии и резким ухудшением функциональной деятельности сердечно-сосудистой системы». Во время этой тяжелой ночной аварии, как явствует из поступивших сообщений, никто более из ездивших на автомобиле в Гори не пострадал, в том числе и супруга погибшего.

Не было имени вождя и в передовой статье от 28 марта «Сила советского строя», комментировавшей напечатанный на этой же полосе газеты указ «Об амнистии». Тот дурачок, что бежал вторым и потом канючил «Дяденька, дяденька, не убивайте...», по этому указу выходил вчистую, так как до восемнадцатилетнего возраста все амнистировались, так же как беременные женщины и женщины с малолетними детьми до десяти лет. Разгружали лагерь от стариков старше пятидесяти пяти и старух старше пятидесяти, ну и от страдающих тяжкими неизлечимыми недугами. Шел под амнистию и этот вешер, поскольку срока имел семь лет, и хотя амнистировались все, кто имел до пяти, но остальным скостили на два, значит, от семи он имел три с полтиной, а как раз три с полтиной отметил в злосчастном феврале. Ну, естественно, ни на секунду не уменьшались сроки и не получали никакого послабления сидевшие за крупные хищения социалистической собственности, бандитизм, умышленное убийство и контрреволюционную деятельность. Здесь было четко сказано: «Не применять амнистию к лицам, осужденным за контрреволюционную деятельность». Для справедливости надо сказать, что вскоре, хотя в указе об этом и не было сказано, выпускали на волю тех, у кого срок за контрреволюционную деятельность уже истек, и они сидели как бы по инерции, без приговора. Вот таких, сидевших без объявленного приговора, было велено все-таки выпустить. Пожалуйста, выпустили.

И пацан, пойманный первым, и Бр-н, пойманный вторым за рекой Нивой, представьте себе, оба дожили до указа. Морока и как-никак необходимость объяснить случившееся с Петей отвлекли Капустина (Яркина) от его решительных намерений, а через два дня после указа обстановка в лагере стала резко иной, очень напряженной, и все силы были брошены на поддержание внутреннего порядка.

Более эти дни ничем примечательны не были.

Прошло время, величайшего властителя всех времен перестали называть великим, потом начали поговаривать, что и умер он как-то нелепо, ну что ж, еще одно свидетельство того, что властолюбие простирается за черты не только общей, но и личной пользы.